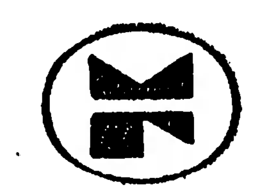
Василий Шукшин

2

Василий Шукшин



Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ
ТОМАХ

Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

■

РАССКАЗЫ
1960–1971 годов

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

84Р7
Ш 95

Составитель
Л. ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

Комментарии
Л. АННИНСКОГО,
Л. ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

Ш $\frac{4702010200-122}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985

СВЕТЛЫЕ ДУШИ

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

— Ты б хоть поздороваться зашел.

— Здорово, Нюся! — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, что очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

— Ты чего? — спросил Михайло.

— Ничего.

— Вроде сердишься?

— Ну что ты! Разве можно на трудящий народ сердиться? — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться.

Анна глянула на него и всплеснула руками:

— Мамочка родимая! Грязный-то!..

— Пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошками небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся,

солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

— Прямо места живого не найдешь, господи ты мой! — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

— Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!...

— Ну и марай... марай, не думай! Побольше бы так марал!

— Соскучилась небось?

— Соскучишься! Уедет на целый месяц...

— Где же на месяц? Эх ты... акварель!

— Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон на ящике. — Она ушла.

Михайло, ступая догоряча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене:

— Ань! Ты, случайно, не видела карбюратор?

— Какой карбюратор?

— Ну такой... с трубочками!

— Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять...

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать... Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

— Собрался?

— Тут, понимаешь... штука одна потерялась, — сокрушенно заговорил Михайло. — Куда она, окаянная?

— Господи! — Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. — Ни стыда ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками...

Михайло поспешно подошел к жене.

— Чего сделать, Нюся?

— Сядь со мной. — Анна смахнула слезы.

Сели.

— У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое... хоро-ошенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

— Ага! Такое, знаешь... — Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

— Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

— Так... — Михайло не знал, много это или мало.

— Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила — как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

— Взять это полупальто. Чего тут думать?

— Погоди ты! Разлысил лоб... Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем...

— Правильно! — воскликнул Михайло.

— Что правильно?

— Продать овечку.

— Тебе хоть все продать! — Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

— Сама же говорит, елки зеленые!

— Так я говорю, а ты пожалей. А то я — продать, и ты — продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

— Какая ты у меня... головастая!

Анна покраснела от похвалы.

— Разглядел только...

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

— Миша!

— Аиньки! Я сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

— Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

— Миша!

— Одну минуту, Нюся.

— Я говорю, замараешь белье-то!

— Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

— Ну, сделал?

— Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

— Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! — рассердилась Анна.

— Ну вот... При чем она здесь?

— При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:

— ...Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот — то ли поджидал специально — тут и был! «Здрасти, — говорит, — я ревизор...»

— Хэх! Ну? — Михайло слушал.

— Ну, тот туда-сюда — заегозил. Тыр-пыр — семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся...

— А ревизор что?

— А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.

— Тэк. Влопался, голубчик?

— Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.

— Сколько дали?

— Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!

Михайло задумался о чем-то.

За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.

— Садись, Миша.

Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.

— У нас одеяло какое-нибудь старое есть? — спросил он.

— Зачем?

— А в кузов постелить. Зерна много сыплется.

— Что они, не могут вам брезенты выдать?

— Их пока жареный петух не клюнет — не хватятся. Все обещают.

— Завтра найдем чего-нибудь.

Ужинали не торопясь, долго.

Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи — для пробы.

— Ну-ка, оцени.

Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:

— Ох... хороша-а!

— К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья... сытые — загляденье! А на тебя смотреть страшно.

— Ничего-о, — гудел Михайло. — Как у вас тут?

— Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько?

— Нужно. Весь СССР прокормить — это... одна шестая часть.

— Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

— Ночь-то! — восторженно прошептал Михайло.

Анна, уже полусонная, пошевелилась.

— А?

— Ночь, говорю...

— Хорошая.

— Сказка просто!

— Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. — До того красиво...

— Соловей?

— Какие же сейчас соловьи!

— Да, верно...

Замолчали.

Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло полежал еще немного, потом осторожно вы-

свободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:

— На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу — успокаивал.

Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

— Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер... там иголка не пролезет.

— Ну, теперь-то все хоть?

— Конечно.

— Бензином опять несет! Ох... господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.

— Ты опять? — спросила Анна.

— Я попить хочу.

— В сенцах в кувшине — квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

— Хо-ох! Елки зеленые? Тебе надо?

— Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней...

Стояла удивительная ночь — огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пропизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

— Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..

ПРАВДА

На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза «Пламя коммунизма», — Аксеныч, как его попросту называли, — выдал такую огневую речь, что сам потом удивился.

Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: «Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим. Исправим». Под конец, правда, он дал маху: забыл в пылу выступления, что кукурузу называют «королевой полей», и назвал ее «русской красавицей». В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову.

Сейчас, копаясь в моторе своего «козла», Аксеныч с удовольствием думал: «Могу, язви тя в легкое!»

Сзади кто-то негромко спросил:

— Вы к себе сейчас едете?

Аксенов обернулся: спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, большеротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова.

— Подбросить, что ли?

— Да.

— Сейчас... — Аксенов опять уткнулся в мотор. — Свечи закидало... — Он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты-усики, поскоблил, протер, продул и ввернул опять.

Большеротый все стоял и смотрел ему в спину.

«Как же его фамилия?» — пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, по слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность, он сейчас не мог вспомнить, так же как и фамилию директора.

Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло.

Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок «козла» заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал:

— Черт-те надавал!.. В районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди!..

Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.

Когда наконец выбрались на гравий и машина пошла ровно, Аксеныч откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросы, закурил.

— Слышал, как я выступал? — спросил он, опять с удовольствием вспомнив свое выступление.

— Слышал, — откликнулся большеротый.

Аксеныч подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил:

— Как, по-твоему?

— Что?

— Выступил-то.

— По-моему, плохо. — Большеротый повернул голову к Аксенычу и посмотрел ему прямо в глаза, просто и спокойно.

Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал: засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа. Взгляд этих глаз был тверд.

Директор первый отвернулся, показал глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.

«Завидует, лысан! Сам не умеет выступать и завидует другим», — подумал Аксеныч, но не успокоился от этой мысли.

— Почему плохо?

— А вы думаете, хорошо?

— Я ничего не думаю, — обозлился Аксенов, — я просто спрашиваю, почему плохо, и все.

— Плохо потому, что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания. Недостатки, положим, были названы, но... и то, я вам скажу, схитрили вы здесь.

— Как это?

— Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают. — Большеротый повернулся к Аксенову и улыбнулся. — Так ведь?

Аксенов презрительно прищурил глаза.

— Чего так? — Он чувствовал себя глупо.

— Клуб не достроили — это полбеды. За это можно бить себя в грудь.

— А еще что? Что я утаил, например?

— А мор свиней в прошлом месяце?.. Это же не стихийное бедствие, это безалаберность. Халатность. — Директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом — он их не выбирал и ни на мгновение не задумался: говорить ли этими или подыскать другие? — У вас есть акт ветврача об этом. Скрыли.

У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Осо-

бенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.

— Что же ты не сказал об этом?

Директор ответил тоже не сразу.

— Скажу. Вот осмотрюсь немного — начну говорить.

— Достанется нам тогда на орехи! — воскликнул Аксеныч. Он хотел еще добавить: «Таким большим ртом можно мно-ого наговорить всякой всячины». Но удержался. С этой минуты он горячо невзлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе «Пламя коммунизма», в котором есть и эти слова: «безалаберность» и «халатное отношение». — Несдобровать нам тогда! А? — Аксеныч окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.

— Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов... — тут директор несколько замялся, — акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно? — Директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу: он отчего-то развеселился.

Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора.

— Не лапай, я не баба.

— О!

«Запугать хочет. Как с ребенком разговаривает, стервец. Стреляный воробей, вообще-то говоря, — думал Аксенов. — В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажу сейчас посреди дороги. Скажу, что в другую сторону надо». Но вместо этого неожиданно для себя Аксеныч покосился на директора и усмехнулся.

— Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим!

— Развернемся! — Директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил: этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас — и чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный.

— Посмотрим, посмотрим! — еще раз сказал Аксенов, и таким тоном, точно обещал новичку верную каторгу через год-другой.

Но удивительное дело: сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне,

когда произнес это «посмотрим». «Черт его знает... пугаю к чему-то человека».

Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова; эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом — он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать, — просто захотел узнать этого человека поближе.

— Откуда сам?

— Из Калуги.

— Инженер?

— Точно.

— К нам... по охоте аль неволей?

— По охоте, почему же неволей! — Новичок повернулся к Аксенову, и на его сером квадратном лице изобразилось удивление.

«Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, — не без ехидства подумал Аксеныч. — Воображаешь ты много, друг милый».

— А все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, — не удержался и еще раз сказал Аксенов. — Наше дело сложное, посложней заводского.

— Ничего, — сказал новичок, и Аксенова опять взяла досада: в конце концов не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины.

Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились.

— Закусим?

— С удовольствием! — оживился новый директор. — Есть хочется.

Сидели друг против друга за маленьким квадратным столиком, ждали официантку.

Директор, склонив большую полированную голову, изучал синие кружочки на клеенке. Аксенов смотрел на него. И в нем родилась вдруг озорная мысль.

— По сто пятьдесят, что ли, закажем?

Директор поднял голову.

— Не пью.

«Брось ты... Поставить себя хочешь».

— В чайной или вообще?

Директор усмехнулся.

— Вообще. А вот курить не могу бросить. — Директор полез за папиросами. — Три раза бросал — не вышло.

— Ты, наверно, думаешь, — начал Аксенов, пошевелившись на стуле, — вот, мол, припугнул председателя актом, он теперь виляет передо мной, выпить предлагает. Так?

— Нет, не так. Акт — это само собой. Между нами, я бы все-таки не полез на твоем месте на трибуну с такой речью. Совесть же надо иметь, елки с палкой! Я, грешным делом, смекнул там, на совещании: может, думаю, у него пересмотрели это дело с падежом, комиссия какая-нибудь была. А в машине понял, что никакой комиссии не было — акт лежит у тебя под сукном.

— Тебе бы следователем работать, — съязвил Аксенов, чувствуя, как к сердцу снизу подмыла едкая волна — стыд. Стыд и злость опять овладели им. — Так вот, слушай: акт этот я опротестовал и на самом деле жду комиссию. Чтоб ты знал. — Аксенов сказал это, в упор глядя на директора, не скрывая злости.

Этот человек бесил его и вместе с тем привлекал. Аксенов знал, что не смог бы сейчас встать и уйти, оставив за спиной эти спокойные, правдивые глаза. Хотелось уж теперь досидеться до той поры, когда самому возможно будет прямо взглянуть в них, в эти глаза, и чувствовать себя при этом спокойным и уверенным. Но как это сделать, он не знал. Насчет комиссии он соврал, то есть не то чтоб соврал — он действительно был не согласен с актом ветврача и действительно хотел пригласить комиссию, но он еще не пригласил и акта официально не опротестовывал. В сущности, Аксенов, конечно, соврал и испытывал сейчас такое чувство, точно его, взрослого человека, застали за мелким воровством, будто кто-то неслышно подошел сзади и спросил: «Ты что здесь делаешь?»

«Сегодня же, сейчас же, как только приеду, вызову комиссию, черт ее задери!» — поклялся себе Аксенов.

Услышав, что Аксенов опротестовал акт и вызвал комиссию, директор внимательно посмотрел на него и сказал коротко, деловито:

— Это другое дело.

У Аксенова слабо зарозовели скулы. Ах, до чего, черт возьми, — до зуда в груди — захотелось быть с этим человеком на равных, захотелось вдруг сказать ему ка-

кие-нибудь обыкновенные слова, вроде: «Это не так, директор» или: «Это другое дело!»

«Нет, к чертям собачьим!.. Надо кончать со всякими такими актами». Аксенов на минуту представил себе, каким спокойным, прямо счастливым он чувствовал бы себя сейчас, если б за душой не было этого темного дела с актом, если б был он чист. Он бы сейчас толково и обстоятельно рассказал новичку, как трудно управлять большим, сложным хозяйством, чего не надо делать поначалу и что надо сделать сразу, немедля... Он улыбнулся.

— Знаешь, о чем тебя попрошу: как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне. Только по-честному. Мне охота узнать: проживешь ты без этого или нет?

Директор выслушал, тоже улыбнулся.

— Договорились. Ты думаешь, без этого нельзя?

У Аксенова стало легче на душе.

— Как тебе сказать... Можно, конечно. — Аксеныч опять улыбнулся. — Вообще-то так и надо... Эх!.. Забыл, как твоя фамилия?

— Воловик, Николай.

— Тезки с тобой. Я тебе так скажу, Микола: можно. Мы тут ведь уж подолгу работаем, вросли, так сказать, корнями в дела эти колхозные да совхозные, переплелись друг с другом... Ну и случится иной раз: сказал бы про него, подлеца, правду, да у самого рыло, как говорится, в пуху — смолчишь. Но ты не думай, пожалуйста, что мы тут только и делаем, что скрываем грехи друг от друга.

— Господи!.. Кто же так думает! Дела у вас хорошие, большие. — Воловик говорил серьезно, искренне. — Потому и захотелось попробовать тут свои силенки. Я о том, что обидно, елки с палкой, когда в таких делах случаются...

— Случаются, — перебил Аксеныч и нахмурился, глядя в стол. — Случаются, Микола.

— Вообще совещание мне понравилось. Некоторые очень толково говорили, конкретно.

Аксенов опять покраснел: вспомнил свое выступление.

— У нас есть люди... Первый секретарь — дельный мужик: знает хозяйство. Со вторым нам не повезло малость: суетливый какой-то, шумит много...

Подошла официантка. Заказали два борща, две порции котлет, по кружке пива.

— Борщец тут у нас знатный делают, — похвастал Аксеныч. — В Калуге такого... Хотя ты ж с Украины, наверно?

— Нет, калужанин коренной. Отец украинец был, а жил тоже в Калуге.

— Ты с семьей здесь или один пока?

— Один пока.

— Как устроился-то? Слушай, приезжай сегодня ко мне! Этак к вечерку. Баньку протопим, с неводишком на речку сбегаем... Небось стосковался без своих-то? Я тебе поподробнее расскажу про все наши дела, введу, так сказать, в курс дела... Ты поверишь, нет, я чего-то до смерти рад, что познакомился с тобой. Не подумай, что я насчет этого дурацкого акта боюсь. Я всегда оправдаюсь. Чего-то ты мне поглянулся, честное слово... — Давно уж Аксеныч не говорил таких простых, хороших слов, давно уж не испытывал такого горячего, участливого уважения к человеку.

Воловик подумал немного и согласился.

— Только... я, понимаешь, не один приеду, если разрешишь. Ко мне дружок заехал... офицер с Дальнего Востока. Демобилизовался. Тоже дела человек ищет. Я думаю, мы ему вдвоем как-нибудь поможем присмотреться. Мне хочется, чтобы он здесь остался... Толковый парень!

На сердце у Аксенова расцвела хорошая, благодарная радость.

— Конечно!.. Господи, да мы его тут враз с делом окрутим. Покажу вам свое хозяйство. У меня хозяйство хорошее, Микола. Ферма!.. Ты знаешь, какая у меня ферма! Вся начисто механизирована! — Аксеныч широко повел правой рукой; в глазах его засветился счастливый огонек. — Ребята-дояры — вот такие! Комсомольцы. Ты правильно сделал, Микола, что приехал сюда. Поможем! Трудно будет первое время — это точно. Поможем. Я не зря говорю...

Директор слушал, кивал большой гладкой головой — соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво.

СТЕНЬКА РАЗИН

Его звали — Васёка. Васёка имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень — Васёка.

Кем он только не работал после армии! Пастухом,

плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет.

— Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь? — интересовались в конторе.

Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

— Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

— Опять? — спрашивали его.

— Что «опять»?

— Уволился?

— Так точно! — Васёка козырял по-военному. — Еще вопросы будут?

— Куклы пошел делать? Хэх...

На эту тему — о куклах — Васёка ни с кем не разговаривал.

Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил:

— Все.

— Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васёка пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать — куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

— Поедешь на бухгалтера учиться?

— Можно.

— Только... это очень серьезно!

— К чему эти возгласы?

«Дебет... Кредит... Приход... Расход... Заход... Обход... — И деньги! деньги! деньги!..»

Васёка продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

— Смехота, — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васёка работал молотобойцем.

И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Все!

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Трепло, — сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Васёка с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прошу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой.

Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего.

Васёка остался в кузнице.

— Ты, Васёка, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч понимает.

— Принеси мне. Я гляну.

На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

— Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага. — Васёка глотнул пересохшим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю.

— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?
— Песню поет.
— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?
— Рассказывали.
Кузнец вернул Васёке смолокура.
— Похожий.
— Это что! — воскликнул Васёка, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!
— Все смолокуры?
— Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
— А у кого ты учился?
— А сам... ни у кого.
— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например...
— Я все про людей знаю. — Васёка гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.
— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся.
— Скоро Стеньку сделаю... поглядишь.
— Смеются над тобой люди.
— Это ничего. — Васёка высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
Кузнец опять рассмеялся.
— Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?
— А что?
— Совестно небось так говорить.
— Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.
— Смолокур-то? Про Ермака Тимофеевича.
— А артистку ты где видел?
— В кинофильме. — Васёка прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.
— А они тебя?
Васёка слегка покраснел.
— Тут я затрудняюсь тебе сказать.
— Хэ!.. — Кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Васёка.

...С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками — длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу — на манер марша — подпевал:

Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок...

— Здравствуй, Васёка! — приветствовали его.

— Здорово, — отвечал Васёка. И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». — «Бери!» — «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе: «В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васёка, с повлажневшими глазами, слушал.

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицал он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: — Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку.

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два — смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

— Василий Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — Так здоровался Захарыч — «по-казацки».

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Василий... — Захарыч садился на стул, — ты — мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Васёка подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он не про Ермака поет, — говорил он. — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. — И он неожиданно сильным красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!
Воля вольная моя.
Воля — сокол в поднебесьи,
Воля — милые края...

У Васёки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

— Захарыч... милый, — шептал Васёка побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч... Я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Васёка уходил к Стеньке.

...День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.

— Захарыч! Все... иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку...

Вот что было на верстаке:

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжелым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

«Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васёки... не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но... не надо.

— Ну как, Захарыч?

— Это... Никак. — Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. — Как они его... а? За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады! — Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васёка мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч...

— Что не надо-то? — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..

Васёка сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж... их вдвоем с братом, — бормотал Захарыч. — Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

— И брата?

— И брата... Фролом звали. Вместе их... Но брат — тот... Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами.

Только вечерами наступала прохлада.

И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место — у коряги — и смотрел на солнце.

Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное.

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях — коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

— Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

— Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал:

— Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

— Можно я вас буду писать? — спросила девушка.

— Как это? — не понял старик.

— Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

— Я ж некрасивый теперь, — сказал он.

— Почему? — Девушка несколько растерялась. — Нет, вы красивый, дедушка.

— Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала:

— Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся.

— Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь.

— Городская, наверно? — спросил он.

— Городская.

— Платют, видно, за это?

— Когда как вообще-то. Хорошо сделаю, заплатят.

— Надо стараться.

— Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

— Вы здешний, дедушка?

— Здешный.

— И родились здесь?

— Здесь, здесь.

— Вам сколько сейчас?

— Годков-то? Восемьдесят.

— Ого!

— Много, — согласился старик и опять слабо усмехнулся. — А тебе?

— Двадцать пять.

Опять помолчали.

— Солнце-то какое! — негромко воскликнул старик.

— Какое? — не поняла девушка.

— Большое.

— А-а... Да. Вообще красиво здесь.

— А вода вона, вишь, какая... У того берега-то...

— Да, да.

— Ровно крови подбавили.

— Да. — Девушка посмотрела на тот берег. — Да. Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине — между рекой и горами — тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго — тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.

— Ушло солнышко, — вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так — слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

— Хорошо, — сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..»

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки... Опять морщины!

«Надо работать, работать, работать...»

— Вы завтра придете сюда, дедушка? — спросила она старика.

— Приду, — откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел — ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо.

Садились ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку — старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны.

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

— Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много — четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет: ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любют меня. По городам все теперь...

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

— Трудно было жить? — невпопад спрашивала она.

— Чего ж трудно? — удивлялся старик. — Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

— Сыновей жалко?

— А как же? — опять удивлялся старик. — Четырех таких положить — шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

— Ненастье завтра будет, — сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо.

— Почему?

— Ломает меня всего.

— А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

— Вы придете завтра, дедушка?

— Не знаю, — не сразу откликнулся старик. — Ломает чего-то всего.

— Дедушка, как у вас называется вот такой камень? — Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

— Какой? — спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

— Такой? — спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих скрюченных пальцах. — Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

— На... камешек-то, — сказал он и протянул девушке камень. — Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко — не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож — с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, — синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

— Вы где живете, дедушка?

— А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, — старик показал дом на берегу, — дальше — Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в переулочке, — наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

— Спасибо.

— Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги.

«Нет, не слепой, — поняла девушка. — Просто слабое зрение».

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. «Солнце — оно тоже просто встает и просто заходит, — думала девушка. — А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

— Здравствуйте, — сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул.

— Здорово.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка...

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

— Жил, — сказал мужик. — Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот.

— Он умер, да?

— Помер. — Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. — А тебе чего надо было?

— Так... я рисовала его.

— А-а. — Мужик резко зашаркал рубанком.

— Скажите, он слепой был? — спросила девушка после долгого молчания.

— Слепой.

— И давно?

— Лет десять уж. А что?

— Так...

Девушка пошла из ограды.

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

СТЕПКИНА ЛЮБОВЬ

Весной, в апреле, Степан Емельянов влюбился. В целинщицу Эллочку. Он видел ее всего два раза. Один раз подвез из города до деревни — ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывало. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, точно хотела сказать: «Вы, конечно, понимаете,

что не сама же я хочу этого». И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан — ничего, даже не смотрел на девушку. Насвистывал себе «Амурские волны» и думал об аккумуляторе (у него аккумулятор сел).

Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами.

Степан слегка зарумянился в скулах.

— Бросьте вы...

— Почему? — Девушка вскинула на него зеленоватые, прозрачные глаза. — А что?

— Ничего.—Степан «кинул» скорость, газанул и уехал.

«Бывают же такие красивые!» — подумал он о девушке. И все. И забыл о ней.

Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал где придется, видел других девушек, и красивых и не очень красивых — всяких. Мало ли девушек на белом свете! Обо всех думать — голова распухнет.

Наступил апрель.

Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел вышитую рубаху, новенькие, мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой медовухи и пошел в клуб смотреть постановку. Должны были играть свои, деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно. Знаешь человека вот с таких лет, приходишь в клуб, глядь — тот же Гришка Новоселов, скажем, бегает по сцене с бородой по пояс и орет дурным голосом: «Живьем тебя сгною, такой-сякой!..»

Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему.

Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит: выходит на сцену та самая девушка, которую он подвез из города. Такая же красивая, только спокойная и какая-то очень важная: голова чуть откинута назад, русые косы по пояс, в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, а голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться. Он узнал ее сразу. Только он не думал, что она такая красивая. То есть он знал, что она красивая, но не так.

Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный счетовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она

как-то съежилась, как будто испугалась чего. Степану стало жалко ее.

— Зачем ты пришел? — спросила она.

— Я не могу без тебя! — говорит этот дурак громко, на весь зал.

— Уходи, — говорит девушка, но как-то так, что слышится больше: «Не уходи».

— Я не уйду, — говорит Васька и подходит к ней ближе.

Степан вцепился руками в край скамьи. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как счетоводишка ловко обнял девушку за плечи, чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя — припухшие, чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба.

На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя.

«Как же так!..» — думал он.

Три дня ходил Степан сам не свой. (Машину он поставил на ремонт.) Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа, работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался: это ж не по правде у них. Люди засмеют.

Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромовые сапоги и направился... к Эллочке. Дошел до ворот (она жила у стариков Куксиных), постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке. Сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову и так просидел до утренней зари. Думал.

Он похудел за эти дни; в глазах устоялась серьезная, черная тоска. Ничего не ел почти, курил одну за одной папиросы и думал, думал...

— Чего это ты? — спросил его отец.

— Так... — Степан задавил сапогом окурок и снова полез за папиросами, а сам смотрел в сторону.

Эллочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил.

На четвертый день Степан заявил отцу:

— Хочу жениться.

— Ну? Кого хочешь брать? — поинтересовался Егор Северьяныч, отец Степана.

— Эту... новенькую... учетчицу... — тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно.

Егор Северьяныч задумался.

— Ты с ней знакомый?

— Та-а... — Степан замялся. — Нет.

— Я сватать не пойду, — твердо заявил Егор.

— Почему?

— Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва договорись с ней. Погуляй малость, как все люди делают, тогда пойду сватать. А то... Ты вечно, Степка, наобум Лазаря действуешь. Учил тебя, учил, все без толку.

Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворый.

— Скажите, какой прынц выискался: сватать он не пойдет, — сердито сказал Северьян. — Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?

Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал. Чего говорить, сам он в молодости был такой же, как Степан: боялся на девку глаза поднять.

— Я могу, конечно, сходить, — заговорил он, — но только... я думаю, не пойдет она за тебя.

— Пойдет! — сказал дед Северьян. — За такого парня любая пойдет.

— Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Степан, чувствуя, что холодеет изнутри.

— Городская ж она... черт их поймет, чего им надо. Скажет — отсталый.

— Сам ты отсталый, Егор, — опять встрял Северьян. — Сейчас не глядят на это. Сейчас девки умнее пошли. Я старый человек и то это понимаю.

В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство.

Степан опять надел вышитую рубаху, долго приглаживал перед зеркалом прямые, жесткие волосы.

Егор Северьяныч, болезненно сморщившись, ловил негнущимися, темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке новых брюк, с великим трудом вгонял ее в тугую петельку.

— Сошьют же, оглоеды! — ругался он. — Не лезет, хоть ты что. Хоть матушку-репку пой.

Степан пригладил волосы, остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой.

— Надень галстук, — посоветовал дед Северьян.

— На вышитую рубаху не идет, — пояснил Степан.

Собрались наконец.

Егор Северьяныч тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца.

— А пол-литра-то брать с собой или нет? Они ведь теперь по-новому все живут, не поймешь ничего.

Дед Северьян подумал.

— Возьми в карман, — посоветовал он. — Понадобится — она при себе.

Пошли.

День был солнечный, звонкий. Текли ручьи. Небо отражалось в лужах; синие осколки его там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель вовсю бушевал на дорогах.

Шли молча. Старательно обходили лужи, чтобы не замарать сапоги.

У Куксиных огромный домина выстроен.

В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьяныч приуныл: он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куксиным и в разговоре как-нибудь вставит: «А мы ведь к вам того, по делу...» Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Элла.

Отец с сыном переглянулись и направились к горнице.

Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь.

— Да! — ответили из горницы.

У Степана больно подпрыгнуло сердце.

Егор Северьяныч приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан — за ним. Стали у порога.

Прямо перед ними за столом сидел Васька Семенов, а рядом с ним, близко, — Эллочка.

Чай попивают. Васька без пиджака, в шелковой желтой рубахе, выбритый до легкого сияния. Сидит как у себя дома, свободно, даже развалился немного. Смотрит на Емельяновых ласково и глупо.

Эллочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья.

— Проходите, садитесь, пожалуйста.

Егор Северьяныч, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына. У Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу.

— Садитесь, что вы стоите! — весело крикнула Эллочка. — Вы что, его никогда не видели?

Степан сел, положил на колени фуражку.

Некоторое время молчали.

Эллочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал.

— Слушаю, товарищи. А я помню вас, — повернувшись к Степану, весело сказала Элла. — Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердитый были...

Степан мучительно улыбнулся.

А Васька счел необходимым пошутить.

— Левачков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч? Нехорошо!..

Егор Северьяныч еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул по-бычьи голову и сказал прямо:

— Мы, девка, сватать тебя пришли.

Эллочка от неожиданности приоткрыла рот.

— Как?..

— Ну как сватают! Сын вон у меня, — Егор кивнул в сторону Степана, — хочет, чтобы ты за него выходила. Если ты согласная, конечно.

Элла взглянула на Степана.

Тот сжал до отеков кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот. Он не вытирал его.

— То есть замуж?.. — спросила Элла и покраснела.

— Куда же еще, — вздохнул Степан. И посмотрел в глаза Ваське.

Васька хохотнул и пошевелился на стуле. И уставился на Эллу. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья.

— Поздно хватился, Степа, — громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле. — Опоздал.

Степан на этот раз не удостоил его взглядом, смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку, ждал. Смущение его отчего-то прошло.

Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердце. Никто бы не смог объяс-

нить, что такое родилось вдруг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое. Да и то не понимали. Чувствовали.

И в этот-то момент Васька брякнул:

— Мы скоро поженимся, Степа...

И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал: не надо бы ему так говорить.

Егор Северьяныч встал было и пошел из горницы, но Элла как-то вся вдруг встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала:

— Куда вы? Сват называется! Я-то вам еще ничего не ответила.

Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана, но Степан... Степану неважно было, смотрит она на него или нет. Степан весь горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти.

Егор Северьяныч остановился. Васька сидел красный и растерянный. Он с ужасом тоже начал что-то понимать.

— Садитесь. И давайте чай пить, что ли.

Эллочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале, — с решительной веселостью.

Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет.

— Может, мне лучше уйти? — громко спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды. Васька погибал, погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись.

— Я считаю, что да, — тоже громко сказал Степан.

Он немного поторопился. Не надо бы так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо. И кого-то одного Эллочка должна была извинить.

Васька на этот раз тоже не удостоил Степана взглядом: он смотрел на Эллу. Элла опять покраснела и глянула на Егора Северьяныча, который все еще стоял посреди горницы и переводил глаза то на одного, то на другого, то на третью. Он совсем не мог сообразить, что тут происходит. Эллочка невесело рассмеялась:

— Вот положение-то, господи! Хоть бы помог кто-нибудь. Ну, почему вы стоите-то! Садитесь же!

Она даже ногой слегка пристукнула. Ей было нелегко.

Васька поднялся со стула. Стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он наконец наденет его.

— Эх, Степа, жалко мне тебя, — сказал Васька.

И пошел из горницы. На пороге еще оглянулся, зло и весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью.

Некоторое время в горнице было тихо.

Степан осторожно вытер со лба пот. И улыбнулся.

— Нет, вы как хотите, а я сейчас выпью, — сказал Егор Северьяныч, подходя к столу. — Я даже ослаб от такого сватовства.

ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Под Москвой идут тяжелые бои...

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило — коренастый малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз... прицеливается... Все затаив дыхание горестно следят за ним. Мишка делает шаг... второй... — р-р-раз! — срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того... поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина, очередь бить. Гришка стал доказывать свое.

— А по сопатке хошь? — спросил Ванька.

— Да ты же за Петькой бьешь-то?!

— Нет, ты по сопатке хошь? — Когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.

— Мишка, хочешь «Барыню» оторву? — предложил он Мишке.

— За сколько? — спросил Мишка.
— За пять штук.
— Даю три.
— Четыре.
— Три.
— Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!.. Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?
— Ничего, держит, — спокойно сказал Мишка. — Не хочешь — не надо. Сам же напрашиваешься.
Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертенок, «от хвоста грудинку отрывает».
Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад. Помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух! Ух! Ух ты!» Под конец Ванька всегда становился на руки и шел сколько мог на руках. Все смеялись.
Прошелся Ванька по кругу раз пять, остановился.
— Давай!
Мишка бросил на снег две бабки.
Ванька опешил:
— Мы же за три договаривались!
— Хватит.
Ванька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготовился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот. Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие — за Мишку. Образовали кучу малу.
Но тут кто-то крикнул:
— Училка!
Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки — и кто куда! Ванька успел схватить с кона несколько бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу. Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкался на дорогу, как Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же — шапку. Полушубок не стал снимать — в избе было холодно.
На печке сидела маленькая девочка с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Ваньки — Наташка.

— Ваня пришел, — сказала Наташка. — Ты в школе был?

— Был, был, — недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф.

— Вань, вам про кого сёдня рассказывали?

— Про жаркие страны. — Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. — Пошамать нечего?

— Нету, — сказала Наташка и снова стала наряжать куклу — деревянную ложку — в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском:

Ох, сронила колечко-о
С правой руки-и!
Забилось сердечко
По милым дружке-е...

Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее — невыносимо тяжкой и заунывной — не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно.

Ох, сказали, мил помер —
Во гробе-е лежи-ит,
В глубокой могилке-е
Землею зарыт.

Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки.

Голос Наташки, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы.

Ох, надену я платье-е,
К милому пойду-у,
А месяц укажет
Дорожку к нему-у...

— Хватит тебе... распелась, — сказал Ванька. — Спой лучше про Хаз-Булата.

Наташа запела:

Хаз-Булат удало-ой...

Но тут же оборвала:

— Не хочу про Хаз-Булата.

— Вредная! Ну про Катю.

— Катя-Катерина, купеческая дочь?

— Ага.

— Тоже не хочу. Я про милого буду.

Ох, пускай люди судю-ют,
Пускай говоря-ят...

Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, высыпал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе-спокойный; краем глаза наблюдает за Наташкой.

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши:

— Вот они где, бабочки-то! Ты опять в школе не был? Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька!

— ...Семь, восемь... Говори, я ни капли не боюсь. Девять, десять...

— Вот не выучишься — будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь.

Ванька делает вид, что его душит смех.

— ...Одиннадцать, двенадцать... А лоботрясом, думаешь, хуже?

В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер.

— Ага! — сказала Наташка.

Но это трещит мороз.

Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссыпал их в старый валенок и вынес в сенцы.

Потом опять он сидит у стола. Думает, где можно достать три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет: «Да где же ты дров-то достал, сынок?» Ванька даже пошевелился — так захотелось достать три полена. Но дров нету, он это знает.

Наташка уже не поет, а баюкает куклу.

Нудно течет пустое тоскливое время.

За окнами стало синеть.

Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко:

— А-а!

— Ой!.. Ну что ты делаешь-то! — Наташка заплакала. — Напужал, прямо сердце упало...

— Нюня! — говорит Ванька. — Ревушка-коровушка! Не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки!

— Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет.

— А хочешь, я тебе «Барыню» оторву?

Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках.

Наташка засмеялась.

— Ну и дурак ты, Ванька! — сказала она, размазывая по лицу слезы. — Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь.

Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть па дорогу.

В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно.

— Вань, расскажи, как вы волка видели? — попросила Наташка.

Ваньке не хочется рассказывать — надоело.

— Как... Видели, и все.

— Ну уж!

Опять молчат.

— Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горячєньких, — спрашивает Наташка ни с того ни с сего.

— А ты?

— Ох, я бы поела!

Ванька смеется. Наташка тоже смеется.

В это время под окнами заскрипели легкие шаги. Ванька вскочил и сломя голову кинулся встречать мать.

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, — никак не может слезть с печки.

— Вань, ссади ты меня, а... Ва-ань! — просит она.

Ванька пролетел мимо с криком:

— А я первый услыхал!

Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок.

— Мам, чо эт у тебя?

— Неси в избу. Опять раздешкой выскакиваешь!

В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет — не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел — помочь брату.

Вместе проходят к столу, быстренько развязывают узел — там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование — ничего нельзя есть немедленно.

Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверно, очень устала и намерзлась за день. Но она улыбается. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу; пустоты и холода в избе как не бывало.

— Ну, как вы тут?.. Таля? (Она так зовет Наташку.) Ну-ка расскажи, хозяюшка милая.

— Ох, мамочка-мама! — Наташка всплескивает

руками. — У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал.

Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается:

— Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда...

Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах еще понять.

— Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес. — Она чуть не плачет. — Ты в сенцы-то кого отнес?

— Не кого, а чего, — огрызается Ванька. — Это же неодушевленный предмет.

Мать делает вид, что сердится на Ваньку.

— Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас до-олго помнить будет.

Но сейчас матери не до бабок — Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник — будут стряпать пельмени.

— У нас дровишек нисколько не осталось? — спрашивает она.

— Нету, — сказал Ванька и предупредительно мотнулся на полати за корытцем. — В мясо картошки будем добавлять?

— Маленько надо.

Наташка ищет на печке скалку.

— Обещал завезти Филипп одну лесинку... Не знаю... может, завезет, — говорит мать, замешивая в кути тесто.

Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются... Мать рассказывает:

— Едем сейчас с сеном, глядь: а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком и хоть бы хны — не шевелится, окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы.

Наташка приоткрыла рот — слушает. А Ванька спокойно говорит:

— Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять — вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверно?

...Мясо нарублено. Тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешки, мать и Ванька заворачивают в них мясо.

Наташка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они бу-

дут хрустеть и таять на зубах. Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку.

— Мама, а у ней детки бывают? — спрашивает Наташка.

— У кого, доченька?

— У лисы.

Ванька фыркнул.

— А как же они размножаются, по-твоему? — спрашивает он Наташку.

Наташка не слушает его — обиделась.

— Есть у нее детки, — говорит мать. — Ма-аленькие... лисятки.

— А как же они не замерзнут?

Ванька так и покатился.

— Ой, ну я не могу! — восклицает он. — А шубки-то у них для чего!

— Ты тут не вякай, — говорит Наташка. — Лоботряс!

— Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо.

— Не выучится он у нас, — говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. — Потом хватится.

— Завтра зайду к учительше, — сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку, — узнаю, как он там...

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыркает носом.

Мать посмотрела в темное окно и вздохнула:

— Обманул нас Филиппушка... образина косая! Пойдем в березник, сынок.

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы-лохмашки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее. Уговаривает Наташку:

— Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно?

Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться.

Мать с Ванькой выходят на улицу, под окном нарочно громко разговаривают, чтобы Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке:

— Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая!

Наташка что-то отвечает — не разобрать что.

— Боится, — сказала мать. — Милая ты моя-то... — Отвернулась и вытерла рукавицей глаза.

— Они все такие, — объяснил Ванька.

...Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет как огнем.

— Мам, посмотри! — кричит он.

Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щеку. Ванька терпит.

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут.

Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху с шумом тяжко ухнула туча снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и угодил с головой в сугроб, как в мягкую холодную постель. Мать смеется и говорит:

— Ну, вставай!

Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, второй, третий... Березка тихо вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол.

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но после десяти-двенадцати ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук.

Снова рубит мать.

Березка охнула и повалилась набок.

Срубили еще одну — поменьше — Ваньке и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу. Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой па дороге виляет хвост березки, которую несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой.

— Ваня, не балуй! — строго говорит мать.

Идут.

Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.

— ...Семисит семь, семисит восемь, семисит девять... — шепчет Ванька.

Идут.

— Притомился? — спрашивает мать.

— Еще малость... Девяносто семь, девяносто восемь..., — Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. — Девяносто девять, сто! — Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.

Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:

— Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж так ты боишься, что я захвораю.

Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.

— Мужичок ты мой маленький, мужичок... Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили. Надо было поменьше.

Ванька молчит. И молчит Ванькина гордость.

Мать думает вслух:

— Как теперь наша Талюшка там?.. Плачет, наверно?

— Конечно, плачет, — говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил как свои пять пальцев.

Еще некоторое время сидят.

— Отцу нашему тоже трудно там, — задумчиво говорит мать. — Небось в снегу сидят, сердешные... Хоть бы уж зимой-то не воевали.

— Теперь уж не остановются, — поясняет Ванька. — Раз начали — не остановются, пока фрицев не разобьют.

Еще с минуту сидят.

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Пошли с богом.

Было уже совсем темно, когда пришли домой.

Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково:

— Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы не дадим сегодня.

...Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька впотьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила камелек.

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком.

Огонь весело гудит в печке; пятна света, точно ма-

ленькие желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну. Ваньку тоже. А в чугунке еще только-только начинает «ходить» вода.

Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает:

— Вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хоро-ошенькую елочку... Таля, слышишь? Не спите, милые мои. Вот срубим мы эту елочку, разукрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками — до того она у нас будет красивая...

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу... Мать ищет его по лесу, зовет. А Ванька лежит в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло.

...Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила:

— ...Это что же за сон такой, обломон... сморил моих человечков. Ух он сон какой!..

Ванька, покачиваясь, идет к столу.

В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят.

Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отвала. Но мать заставляет есть еще.

— Ты же себя обманываешь — не кого-нибудь, — говорит она.

...После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: полоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину грудь, шею — ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный — Ванька ежится.

Потом Ванька лезет на полати и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень.

В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки — завтра он пойдет в школу в новой рубахе.

ДЕМАГОГИ

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками пришлепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти — Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

— ...Я ему на это отвечаю, слышь: «Милый, говорю, человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь». — Старик подкинул па плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. — «Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты — ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!»

— А он что? — спросил Петька.

— А?

— А он что на это?

— Он? «А я, — говорит, — на тебя вовсе не ору». Тогда я ему па это: «Как же ты на меня пе орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу».

— Ха-ха-ха! — закатился Петька.

Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

— Чего ты?

— Хитрый ты, деда!

— Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу...

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круги.

Петька замер.

— Видал?

Старик тоже остановился.

— Здесь рыбешка имеется, — негромко сказал он. — Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду.

— Вот такая, однако! — Он показал руками около метра.

— Талмешка... Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя — порвешь только. — Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.

— Ох ты! — тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. — Может, попробуем?

— А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

— Как утонула?

— Как... Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

— Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

— Его раздувает, — пояснил дед.

— Ее нашли потом?

— Кого?

— Девку ту.

— Конечно. Сразу нашли... Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. — Дед помолчал и добавил задумчиво: — Она красивая была... Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.

— Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

— Жалко девку, — вздохнул он. — Ныряет в воду, и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

— А?

— Я про Марью!

— Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела — солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

— Пошли, Пётра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

— Северный ветер холодный. Правильно?

— Верно.

— Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

— Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной — нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

— Почему?

— Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

— Это вам учительша все рассказывает?

— Ага.

— Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

— Это я не знаю.

— А?

— Не знаю, говорю!

— Ей, наверное, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

— Она умная. — Петька поднял камень и кинул в воду. — А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

— Ну-ка...

Петька разбежался, стал на руки и... брякнулся на задницу.

— Погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

— Ловко ты!

— Да ты погоди! Гляпь!.. — Петька еще раз разбежался и снова упал.

— Ну, будет, будет! — сказал дед. — Я верю, что ты умеешь.

— Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился. — Петька отряхнул штаны. — Ну ладно, завтра покажу.

...Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду.

Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей.

— Ух-ха! — воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

— Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

— Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

— Ух-ха!

— Подбавь! — кричал дед.

Вода доставала ему до бороды; он подпрыгивал и плевался.

Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

— Держи, Пётра!—кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока. Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся — деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

— Ноги! Дер... — И опять исчез под водой.

Невод сильно дергало. Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

...Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

— Деда! А деда!.. — звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

— Ты живой, деда? — обрадовался Петька.
— А?
Петька погладил деда по лицу.
— Напужался я до смерти, деда.
Дед закрутил головой.
— Звон стоит в голове. Чего ты сказал?
— Ничего.
— Ох-хох, Пётра... Я уж думал, каюк мне.
— Напужался?
— А?
— Здорово трухнул?
— Хрен там! Я и напужаться-то не успел.
Петька засмеялся.
— А я-то гляжу, была голова — и нету.
— Нету... Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно.
— И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.
— А?
— Ничего. — Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех — до того был смешным и растерянным дед.
Дед тоже засмеялся и зябко поежился.
— Замерз? Сейчас костерчик разведем!
Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.
Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.
Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.
— ...А как, значит, повез нас отец сюда, — рассказывал дед, — так я, слышь? — залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дому уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.
— Как называется?
— Ока.
— А потом?
— А потом — ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.
Петька засмеялся.
— Разве земля бывает жирная?
— А как же?

— Земля бывает черноземная и глинистая, — снисходительно пояснил Петька.

— Так это я знаю! Черноземная... Чернозем черноземом, а жирная тоже бывает.

— Что она, с маслом, что ли?

— Пошел ты! — обиделся дед. — Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

— Ты «полоску» не знаешь?

— Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, —
Грустную думу...

— Забыл, как дальше.

— Песня? — спросил дед.

— Стихотворение.

— А?

— Не песня, а стихотворение!

— Это все одно: складно, значит, петь можно.

— Здрассте! — воскликнул Петька. — Стихотворение — это особо, а песня — тоже особо.

— Ох! Ох! Поехал! — Дед подбросил хворосту в костер. — С тобой ведь говорить-то — надо сперва полбарана умять.

Некоторое время молчали.

— Деда, а как это песни сочиняют?—спросил Петька.

— Песни складывают, а не сочиняют, — пояснил дед. — Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. «Эх ты, доля, эх ты, доля», например.

— А «Эй, вратарь, готовься к бою»?

— Подожди... я сейчас... — Дед поднялся и побежал в кусты. — Какой вратарь? — спросил он.

— Ну, песня такая!

— А кто такой вратарь?

— Ну, на воротах стоит!..

— Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

— Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

— Чего ты говоришь?

— Спой песню!

— Песню? Можно. Старинную только. Я нонешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

— Ну, что мне прикажете с вами делать?! — воскликнула она. — Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

— А где же рыба-то? — спросила она.

— Чего? — не расслышал дед.

— Спрашивает: где рыба? — громко сказал Петька.

— Рыба-то? — Дед посмотрел на Петьку. — Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

— Эх вы, демагоги, — сказала она. — Задержитесь у меня еще раз до ночи... Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать — за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

ПЛЕМЯННИК ГЛАВБУХА

Совещание было коротким.

— Хватит миндальничать! — сказал дядя. — Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой.

Мать всплакнула было, но скоро успокоилась и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата:

— Помоги, Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит... На днях соседской свинье глаз выбил. Я уж просила доктора — доктор, сосед-то, — чтобы не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит.

Дядя нахмурился и покачал головой.

— Уж ты будь ему заместо отца родного. Жив был бы Игнат, разве так бы все было... — Мать опять всплакнула.

— Ладно, ладно, — сказал дядя, — чего там!.. Сделаем.

В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами — Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба.

В горницу вошел дядя и объявил:

— Поедешь завтра со мной!

— Куда это?

— В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода.

Витька искренне удивился.

— Какой же из меня счетовод? Вы что?

— Ничего-о, я с тобой сам теперь займусь. Вот так.

Дядя вышел.

Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора.

...Дядя догнал его на коне за поскотиной.

Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька. Негромко приказал:

— Вылазь!

Витька ни гугу.

— Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь: кто же прячется возле дороги?

Витька вышел. Потер ушибленное колено.

— Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом.

— Пошли, — сказал дядя беззлобно. — Ну и осел же ты, Витька! Даже удивительно.

Витька шагал рядом с мордой лошади. Молчал.

— Куда бы ты побежал, интересно?

Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карман и посмотрел далеко-далеко — на закат. Ему не хотелось об этом говорить.

— Характер! Эх, отца бы тебе сейчас!.. Ну ничего!

Долго молчали.

В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной.

— Чего тебе в жизни надо, Витька?

Молчание.

— Почему ты не учишься, как все люди?

Опять молчание.

— Работать хочешь?

— Хочу.

— Кем? Конюхом?

— Не обязательно конюхом...

Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал.

— Сопляк, — сказал он через некоторое время.

Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся.

— У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты... Вот осел-то! — громко возмутился дядя. — Ты думаешь, конюхом — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая! Ну, ничего! Я возьмусь за тебя.

Витьку посадили за большой стол рядом с толстой девушкой, которую все называли Лидок.

Лидок внимательно посмотрела на Витьку... И вздохнула:

— Надо же, такие глаза и парню достались.

Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он, озабоченный, выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек «балансовый отчет» или «платежную ведомость». И внимательно и строго смотрел на Витьку.

Девушек в конторе было четыре. Все, как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он невзлюбил Лидок.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно?

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся!

Витька умножал скучное число на число еще более скучное, получал скучнейший результат и подавал Лидок. Лидок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.

— Пра-льно. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

— Ты что это?

— Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в волейбол.

— Егор Васильевич! — позвала Лидок.

Из кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный.

— Он на меня говорит «дура».

— Зайди ко мне.

Витька не без робости вошел к дяде в кабинет.

— Вот что, дорогой племянничек, — заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке, — если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так! Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.

Витька вышел из кабинета, прошел на свое место. Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... задумался, глянул на солидную Лидок и написал крупно, во весь лист: «ФИФЫЧКА». И показал Лидок.

Лидок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«КОНЮХ» — было написано на листе.

Витька взял новый лист и написал: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

Лидок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: «ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «СВЕЖАСРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла с ним в кабинет.

Витька, недолго раздумывая, поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собою дверь.

Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели. Трава поблекла, сухо шуршала под ногами.

Витька вышел за деревню, на косогор, сел и стал смотреть в степь.

День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: «Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей домой». Или если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая, ты уж сегодня совсем что-то... Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же — ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живет человек». Витька ненавидел сытого врача, одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом? Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз.

— Матушка степь, помоги мне, пожалуйста, — попросил Витька, а в чем помочь, он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы Лидок не мучила его вычислениями. Стало легче оттого, что он попросил матушку степь. Он незаметно заснул.

Разбудил его дядя.

Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь. Было уже темно.

— Замерз? — спросил дядя.

— Нет.

— Нет... — Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шу-

мел. — Ох, Витька, Витька... обормот ты мой!.. — Дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь. — Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади.

— Ну что? — спросил дядя, когда поехали.

— Ничего.

— Не хочешь быть бухгалтером?

— Нет.

— Ни в какую?

Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал.

— Ну и черт с ней! Знаешь... тоже, я тебе скажу, не велика пешка — бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо!

— Она сама начала.

Дядя закурил и задумался.

Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой по чему-то мягкому, наверное по перине, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся, — заговорил дядя. — Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?

— Конечно. А домой я не поеду?

— Нет, домой пока не надо.

— Почему?

Дядя помолчал.

— Мать твоя замуж, наверно, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один...

Витька чуть с коня не свалился — настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая, во-вторых... как это так? А как он, Витька?

— Он неплохой мужик. Я его знаю немного, — рассказывал дядя, а Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот «неплохой мужик» и зевает. Почему-то зевает.

«Из-за меня это она. Потому что я непутевый», — догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать.

Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

— Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь.

Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул лошадь.

До Игринево, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро: лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорей увидеть ее и сказать... что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной — это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя.

Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька спрыгнул с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь.

— Кто там? — Мать не на шутку испугалась.

— Я, — сказал Витька.

— Витя!.. Ты чего, сынок? — Открыла дверь, обняла второпях сына, потом спохватилась. — Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?

— Нет. — Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь. Огляделся.

Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был... странный.

— Что случилось-то, Витька?!

— Ничего. — Витька присел на краешек кровати, долго молчал.

— Мам... — Голос его чуть дрогнул. — Ты... замуж, что ли, выходишь?..

Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо, с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность:

— Да ты что?.. Кто тебе сказал-то? Господи... Ты откуда взял-то это?

«Врет», — понял Витька. И встал.

— Пойду коня расседлаю.

Когда он вышел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала от чего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... Так и пройдет.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери. Неловко, осторожно провел рукой по ее волосам.

— Не надо.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал, мам.

— Ну и хорошо! Хорошо, сынок! Я тебе чаю сейчас поставлю.

ЛЕНЬКА

Ленька был человек мечтательный. Любил уединение.

Часто, окончив работу, уходил за город, в поле. Подолгу неподвижно стоял — смотрел на горизонт, и у него болела душа: он любил чистое поле, любил смотреть на горизонт, а в городе не было горизонта.

Однажды направлялся он в поле и остановился около товарной станции, где рабочие разгружали вагоны с лесом.

Тихо догорал жаркий июльский день. В теплом воздухе настоялся крепкий запах смолья, шлака и пыли. Вокруг было задумчиво и спокойно.

Леньке вспомнилась родная далекая деревня — там вечерами пахнет полынью и дымом. Он вздохнул.

Недалеко от Леньки, под откосом, сидела на бревне белокурая девушка с раскрытой книжкой на коленях. Она тоже смотрела на рабочих.

Наблюдать за ними было очень интересно. На платформе орудуют ломами двое крепких парней — спускают бревна по слегам; трое внизу под откосом принимают их и закатывают в штабеля.

— И-их, р-раз! И-ищ-що... оп! — раздается в вечернем воздухе, и слышится торопливо шелестящий шорох сосновой коры и глухой стук дерева по земле. Громадные

бревна, устремляясь вниз, прыгают с удивительной, грозной легкостью.

Вдруг одно суковатое бревно скользнуло концом по слегам, развернулось и запрыгало с откоса прямо на девушку. В тишине, наступившей сразу, несколько мгновений лишь слышно было, как бежит по шлаку бревно. С колен девушки упала книжка, а сама она... сидит. Что-то противное, теплое захлестнуло Леньке горло... Он увидел недалеко от себя лом. Не помня себя, подскочил к нему, схватил, в два прыжка пересек путь бревну и всадил лом в землю. Уперся ногами в сыпучий шлак, а руками крепко сжал верхний конец лома.

Бревно ударилось о лом. Леньку отшвырнуло метра на три, он упал. Но и бревно остановилось.

Лом попался граненый — у Леньки на ладони, между большим и указательным пальцами, лопнула кожа.

К нему подбежали. Первой подбежала девушка.

Ленька сидел на земле, нелепо выставив раненую руку, и смотрел на девушку. То ли от радости, то ли от пережитого страха — должно быть, от того и от другого — хотелось заплакать.

Девушка разорвала косынку и стала заматывать раненую ладонь, осторожно касаясь ее мягкими теплыми пальцами.

— Какой же вы молодец! Милый... — говорила она и смотрела на Леньку ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Удивительные у нее глаза — большие, темные, до того темные, что даже блестят.

Леньке сделалось стыдно. Он поднялся. И не знал, что теперь делать.

Рабочие похвалили его за смекалку и стали расходиться.

— Йодом руку-то надо, — посоветовал один.

Девушка взяла Леньку за локоть.

— Пойдемте к нам.

Ленька, не раздумывая, пошел.

Шли рядом. Девушка что-то говорила. Ленька не понимал что. Он не смотрел на нее.

Дома Тамара (так звали девушку) стала громко рассказывать, как все случилось.

Ее мать, очень толстая, еще молодая женщина с красивыми красными губами и родинкой на левом виске, равнодушно разглядывала Леньку и устало улыбалась. И говорила:

— Молодец, молодец!

Она как-то неприятно произносила это «молодец» — негромко, в нос, растягивая «е».

У Леньки отнялся язык (у него очень часто отнимался язык), и он ничего путного за весь вечер не сказал. Он молчал, глупо улыбался и никак не мог посмотреть в глаза ни матери, ни дочери. И все время старался устроить куда-нибудь свои большие руки. И еще старался не очень опускать голову — чтобы взгляд не получался исподлобья. Он имел привычку опускать голову.

Сели пить чай с малиновым вареньем.

Мать стала рассказывать дочери, какие она видела сегодня в магазине джемперы — красные, с голубой полоской. А на груди — белый рисунок.

Тамара слушала и маленькими глотками пила чай из цветастой чашки. Она раскраснелась и была очень красивой в эту минуту.

— А вы откуда сами? — спросила Леньку мать.

— Из-под Кемерова.

— О-о, — сказала мать и устало улыбнулась.

Тамара посмотрела на Леньку и сказала:

— Вы похожи на сибиряка.

Ленька ни с того ни с сего начал путано и длинно рассказывать про свое село. Он видел, что никому не интересно, но никак не мог замолчать — стыдно было признаться, что им неинтересно слушать.

— А где вы работаете? — перебила его мать.

— На авторемонтном, слесарем. — Ленька помолчал и еще добавил: — И учусь в техникуме, вечерами...

— О-о, — произнесла мать.

Тамара опять посмотрела на Леньку.

— А вот наша Тамарочка никак в институт не может устроиться, — сказала мать, закинув за голову толстые белые руки. Вынула из волос приколку, прихватила ее губами, поправила волосы. — Выдумали какие-то два года!.. Очень неразумное постановление. — Взяла изо рта приколку, воткнула в волосы и посмотрела на Леньку. — Как вы считаете?

Ленька пожал плечами.

— Не думал об этом.

— Сколько же вы получаете слесарем? — поинтересовалась мать.

— Когда как... Сто, сто двадцать. Бывает восемьдесят...

— Трудно учиться и работать?

Ленька опять пожал плечами.

— Ничего.

Мать помолчала. Потом зевнула, прикрыв ладошкой рот.

— Надо все-таки написать во Владимир, — обратилась она к дочери. — Отец он тебе или нет!.. Пусть хоть в педагогический устроит. А то опять год потеряем. Завтра же сядь и напиши.

Тамара ничего не ответила.

— Пейте чай-то. Вот печенье берите... — Мать пододвинула Леньке вазочку с печеньем, опять зевнула и поднялась. — Пойду спать. До свиданья.

— До свиданья, — сказал Ленька.

Мать ушла в другую комнату.

Ленька нагнул голову и занялся печеньем — этого момента он ждал и боялся.

— Вы стеснительный, — сказала Тамара и ободряюще улыбнулась.

Ленька поднял голову, серьезно посмотрел ей в глаза.

— Это пройдет, — сказал он и покраснел. — Пойдемте на улицу.

Тамара кивнула и непонятно засмеялась.

Вышли на улицу.

Ленька незаметно вздохнул: на улице было легче.

Шли куда-то вдоль высокого забора, через который тяжело свисали ветки кленов. Потом где-то сели — кажется, в сквере.

Было уже темно. И сыро. Пал туман.

Ленька молчал. Он с отчаянием думал, что ей, наверное, неинтересно с ним.

— Дождь будет, — сказал он негромко.

— Ну и что? — Тамара тоже говорила тихо.

Она была совсем близко. Ленька слышал, как она дышит.

— Неинтересно вам? — спросил он.

Вдруг — Ленька даже не понял сперва, что она хочет сделать, — вдруг она придвинулась к нему вплотную, взяла его голову в свои мягкие, ласковые руки (она могла взять ее и унести совсем, ибо Ленька моментально перестал что-либо соображать), наклонила и поцеловала в губы — крепко, больно, точно прижгла каленой железкой. Потом Ленька услышал удаляющиеся шаги по асфальту и голос из темноты, негромко:

— Приходи.

Ленька зажмурился и долго сидел так.

К себе в общежитие он шел спокойный. Медленно нес свое огромное счастье. Он все замечал вокруг: у забора под тусклым светом электрических лампочек вспыхивали холодные огоньки битой посуды... Перебегали через улицу кошки...

Было душно. Собирался дождь.

Они ходили с Тамарой в поле, за город.

Ленька сидел на теплой траве, смотрел на горизонт и рассказывал, какая у них в Сибири степь весной по вечерам, когда в небе догорает заря. А над землей такая тишина! Такая стоит тишина!.. Кажется, если громко хлопнуть в ладоши, небо вздрогнет и зазвенит. Еще рассказывал про своих земляков. Он любил их, помнил. Они хорошо поют. Они очень добрые.

— А почему ты здесь?

— Я уеду. Окончу техникум и уеду. Мы вместе уедем... — Ленька краснел и отводил глаза в сторону.

Тамара гладила его прямые мягкие волосы и говорила:

— Ты хороший. — И улыбалась устало, как мать. Она была очень похожа на мать. — Ты мне нравишься, Леня.

Катились светлые, счастливые дни. Кажется, пять дней прошло.

Но однажды — это было в субботу — Ленька пришел с работы, наутюжил брюки, надел белую рубашку и отправился к Тамаре: они договорились сходить в цирк. Ленька держал правую руку в кармане и гладил пальцами билеты.

Только что перепал теплый летний дождик, и снова ярко светило солнышко. Город умылся. На улицах было мокро и весело.

Ленька шагал по тротуару и негромко пел — без слов.

Вдруг он увидел Тамару. Она шла по другой стороне улицы под руку с каким-то парнем. Парень, склонившись к ней, что-то рассказывал. Она громко смеялась, закидывая назад маленькую красивую голову.

В груди у Леньки похолодело. Он пересек улицу и пошел вслед за ними. Он долго шел так. Шел и смотрел им в спины. На молодом человеке красиво струился белый дорогой плащ. Парень был высокий.

Сердце у Леньки так сильно колотилось, что он остановился и с минуту ждал, когда оно немного успокоится. Но оно никак не успокаивалось. Тогда Ленька перешел на другую сторону улицы, обогнал Тамару и парня,

снова пересек улицу и пошел им навстречу. Он не понимал, зачем это делает. Во рту у него пересохло. Он шел и смотрел на Тамару. Шел медленно и слышал, как больно колотится сердце.

Тамара все смеялась. Потом увидела Леньку. Ленька заметил, как она замедлила шаг и прижалась к парню... и растерянно и быстро посмотрела на него, на парня. А тот рассказывал. Ленька даже расслышал несколько слов: «Совершенно гениально получилось...»

— Здравствуй...те! — громко сказал Ленька, останавливаясь перед ними. Правую руку он все еще держал в кармане.

— Здравствуйте, Леня, — ответила Тамара.

Ленька глотнул пересохшим горлом, улыбнулся.

— А я к тебе шел...

— Я не могу, — сказала Тамара и, взглянув на Леньку, непонятно, незнакомо прищурилась.

Ленька сжал в кармане билеты. Он смотрел в глаза девушке. Глаза были совсем чужие.

— Что «не могу»? — спросил он.

— Господи! — негромко воскликнула Тамара, обращаясь к своему спутнику.

Ленька нагнул голову и пошел прямо на них.

Молодой человек посторонился.

— Нет, погоди... что это за тип? — произнес он, когда Ленька был уже далеко.

А Ленька шел и вслух негромко повторял:

— Так, так, так...

Он ни о чем не думал. Ему было очень стыдно.

Две недели жил он невыносимой жизнью. Хотел забыть Тамару — и не мог. Вспоминал ее походку, глаза, улыбку... Она снилась ночами: приходила к нему в общежитие, гладила его волосы и говорила: «Ты хороший. Ты мне очень нравишься, Леня». Ленька просыпался и до утра сидел около окна — слушал, как перекликаются далекие паровозы. Один раз стало так больно, что он закусил зубами угол подушки и заплакал — тихонько, чтобы не слышали товарищи по комнате.

Он бродил по городу в надежде встретить ее. Бродил каждый день — упорно и безнадежно. Но заставить себя пойти к ней не мог.

И как-то он увидел Тамару. Она шла по улице. Одна. Ленька чуть не вскрикнул — так больно подпрыгнуло сердце. Он догнал ее.

— Здравствуй, Тамара.

Тамара вскинула голову.

Ленька взял ее за руку, улыбнулся. У него опять высохло в горле.

— Тамара... Не сердись на меня... Измучился я весь... — Леньке хотелось зажмуриться от радости и страха.

Тамара не отняла руки. Смотрела на Леньку. Глаза у нее были усталые и виноватые. Они ласково потемнели.

— А я и не сержусь. Что ж ты не приходил? — Она засмеялась и отвела взгляд в сторону. Глаза у нее были до странного чужие и жалкие. — Ты обидчивый, оказывается.

Леньку как будто кто в грудь толкнул. Он отпустил ее руку. Ему стало неловко, тяжело.

— Пойдем в кино? — предложил он.

— Пойдем.

В кино Ленька опять держал руку Тамары и с удивлением думал: «Что же это такое?.. Как будто ее и нет рядом». Он опустил руку к себе на колено, облокотился на спинку переднего стула и стал смотреть на экран. Тамара взглянула на него и убрала руку с колена. Леньке стало жалко девушку. Никогда этого не было — чтобы жалко было. Он снова взял ее руку. Тамара покорно отдала. Ленька долго гладил теплые гладкие пальцы.

Фильм кончился.

— Интересная картина, — сказала Тамара.

— Да, — соврал Ленька: он не запомнил ни одного кадра. Ему было мучительно жалко Тамару. Особенно когда включили свет и он опять увидел ее глаза — вопросительные, чем-то обеспокоенные, очень жалкие глаза.

Из кино шли молча.

Ленька был доволен молчанием. Ему не хотелось говорить. Да и идти с Тамарой уже тоже не хотелось. Хотелось остаться одному.

— Ты чего такой скучный? — спросила Тамара.

— Так. — Ленька высвободил руку и стал закуривать.

Неожиданно Тамара сильно толкнула его в бок и побежала.

— Догони!

Ленька некоторое время слушал торопливый стук ее туфель, потом побежал тоже. Бежал и думал: «Это уж совсем... Для чего она так?»

Тамара остановилась. Улыбаясь, дышала глубоко и часто.

— Что? Не догнал!

Ленька увидел ее глаза. Опустил голову.

— Тамара, — сказал он вниз, глухо, — я больше не приду к тебе... Тяжело почему-то. Не сердись.

Тамара долго молчала. Глядела мимо Леньки на светлый край неба. Глаза у нее были сердитые.

— Ну и не надо, — сказала она наконец холодным голосом. И устало улыбнулась. — Подумаешь... — Она посмотрела ему в глаза и нехорошо прищурилась. — Подумаешь. — Повернулась и пошла прочь, сухо отщелкивая каблучками по асфальту.

Ленька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько.

АРТИСТ ФЕДОР ГРАЙ

Сельский кузнец Федор Грай играл в драмкружке «простых» людей.

Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему.

Руководитель драмкружка, суетливый малый, с конопатым неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произносил всякие ехидные слова — заставлял говорить громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью... А когда выходил на сцену, все повторялось: Федор говорил негромко и смотрел на партнеров исподлобья. Режиссер за кулисами кусал губы и горько шептал:

— Верстак... Наковальня...

Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак:

— Где у тебя язык? Ну-ка покажи язык!.. Ведь он же у тебя...

Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил это-

го вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его... И терпел. Только один раз он вышел из себя.

— Где у тебя язык?.. — накинулся по обыкновению режиссер.

Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли.

— Больше не ори на меня, — негромко сказал Федор и отпустил режиссера.

Бледный руководитель не сразу обрел дар речи.

— Во-первых, я не ору, — сказал он, заикаясь. — Во-вторых: если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне... герой-любовник.

— Еще вякни раз. — Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.

Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора.

— А погромче, чуть погромче нельзя? — просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.

Федор старался говорить громче.

Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал:

— Хорошо играешь.

Федор слегка покраснел.

— Пьес хороших нету... Можно бы сыграть, — сказал он негромко.

Тяжело было произносить на сцене слова вроде: «сельхознаука», «незамедлительно», «в сущности говоря»... и т. п. Но еще труднее, просто невыносимо трудно и тошно говорить всякие «чаво», «куды», «евон», «ейный»... А режиссер требовал, чтобы говорили так, когда речь шла о «простых» людях.

— Ты же простой парень! — взволнованно объяснял он. — А как говорят простые люди?

Еще задолго до того, когда нужно было произносить какое-нибудь «теперича», Федор на беду свою чувствовал его впереди, всячески готовился не промямлить, не «съесть» его, но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел. Было ужасно стыдно.

— Стоп! — взвизгивал режиссер. — Я не слышал, что было сказано. Нести же надо слово! Еще раз. Активнее!

— Я не могу, — говорил Федор.

— Что не могу?

— Какое-то дурацкое слово... Кто так говорит?

— Да во-от же! Боже ты мой!.. — Режиссер вскакивал и совал ему под нос пьесу. — Видишь? Как тут говорят? Наверно, умнее тебя писал человек. «Так не говорят»... Это же художественный образ! Актер!..

Федор переживал неудачи как личное горе: мрачнел, замыкался, днем с ожесточением работал в кузнице, а вечером шел в клуб на репетицию.

...Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности.

Режиссер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной «художественный образ».

— Да не так же!.. Боже ты мой! — кричал он, подлетая к Федору. — Не верю! Вот смотри. — Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязной походкой в «кабинет председателя колхоза». Лицо у него делалось на редкость тупое.

— «Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб... Чаво?»

Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. Выдает!

А Федора охватывала глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно. Федор не умел только этого сказать.

А режиссер, очень довольный произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил деловым тоном:

— Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему. Копировать меня не надо. Но мне важен общий рисунок. Понимаешь?

Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым.

Федору же за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб, вообще выкинуть его отсюда. Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Федора: он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать: «Ну, тут даже я бессилен».

Федор скрипел зубами, и терпел, и говорил «чаво?», но никто не смеялся.

В этой пьесе по ходу действия Федор должен был приходить к председателю колхоза, махровому бюрократу и

волокитчику, и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое «знание жизни», сверх всякой меры нашпиговал ее «народной речью»: «чаво», «туды», «сюды» так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась, в сущности, к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным, вялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл.

Наступил страшный день смотра.

В клубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия.

Режиссер в репетиционной комнате умолял актеров:

— Голубчики, только не волнуйтесь! Все будет хорошо... Вот увидите: все будет отлично.

Федор сидел в сторонке, в углу, курил.

Перед самым началом режиссер подлетел к нему:

— Забудем все наши споры... Умоляю: погромче. Больше ничего не требуется...

— Пошел ты!.. — холодно вскипел Федор. Он уже не мог больше выносить этой бессовестной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его.

Режиссер испуганно посмотрел на него и отбежал к другим.

— ...Я уже не могу... — услышал Федор его слова.

Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо: как будто проваливался в большую гулкую яму. Он слышал стук собственного сердца. В груди становилось горячо и больно.

И на этот раз, ожидая за дверью сигнала «пошел», Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать.

В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера. Тот беззвучно показывал губами: «громче».

Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену.

Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были: «Здравствуйте, Иван Петрович. А я все насчет клуба, ххе... Поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села...» На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал: «Да не до клуба мне сейчас! Посевная срывается!»

Федор прошел к столу председателя, сел на стул.

— Когда клуб будет? — глухо спросил он.

Суфлер в своей будке громко зашептал:

— «Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович! А я все насчет...»

Федор ухом не повел.

— Когда клуб будет, я спрашиваю? — повторил он свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру; тот растерялся.

— Когда будет, тогда и будет, — буркнул он. — Не до клуба сейчас.

— Как это не до клуба?

— Как, как!.. Так. Чего ты?.. Явился тут — царь Горох! — Партнера тоже уже понесло напропалую. — Невелика птица — без клуба поживешь.

Федор положил тяжелую руку на председательские бумажки.

— Будет клуб или нет?!

— Не ори! Я тоже орать умею.

— «Наше комсомольское собрание постановило... Наше комсомольское собрание постановило...» — с отчаянием повторял суфлер.

— Вот что... — Федор встал. — Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь! Не выйдет! — Голос Федора зазвучал крепко и чисто. — Зарубите это себе на носу, председатель. Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб. Мы его заработали. Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли бумажками отбояриваться... Я их видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!

Суфлер молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой.

Режиссер корчился за кулисами.

— Чего ты кричишь тут? — пытался остановить председатель Федора, но остановить его было невозможно; он незаметно для себя перешел на «ты» с председателем.

— Сидишь тут, как... ворона, глазами хлопаешь. Давно бы уже все было, если бы не такие вот... Сундук старорежимный! Пуп земли... Ты ноль без палочки — один-то, вот кто. А ломаешься, как дешевый пряник. Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь! — Федор ходил по кабинету — сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен.

В зале стояла тишина.

— Запомни мое слово: не начнешь строить клуб, поеду в район, в край... к черту на рога, но я тебя допеку. Ты у меня худой будешь.

— Выйди отсюда моментально! — взорвался председатель.

— Будет клуб или нет?

Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего.

— Я подумаю.

— Завтра подумаешь. Будет клуб?

— Ладно.

— Что ладно?

— Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то?.. — Председатель с тоской огляделся — искал режиссера, хотел хоть что-нибудь понять во всей этой тяжелой истории.

В зале засмеялись.

— Вот это другой разговор. Так всегда и отвечай. — Федор встал и пошел со сцены. — До свиданья. Спасибо за клуб!

В зале дружно захлопали.

Федор, ни на кого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться.

— Что ты натворил? — печально спросил его режиссер.

— Что? Не по-твоему? Ничего... Переживешь. Выйди отсюда — я штаны переодевать буду. Я стесняюсь тебя.

Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощанье дверью. Он решил порвать с искусством.

Через три дня сообщили результаты смотра: первое место среди участников художественной самодеятельности двадцати районов края завоевал кузнец Федор Грай.

— Кхм... Может, еще какой Федор Грай есть? — усомнился отец Федора.

— Нет. Я один Федор Грай, — тихо сказал Федор и побагровел. — А может, еще есть... Не знаю...

ВОСКРЕСНАЯ ТОСКА

Моя кровать — в углу, его — напротив. Между нами — стол, на столе — рукопись, толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу, и стало грустно: такая тягомотина, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки «беломорину», прикуриваю. С удовольствием затягиваюсь раза три кряду. Кто-то хорошо придумал — курить.

...Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

— Кинь спички, — попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крякнул и, не вставая, потянулся за коробком.

— Муки слова, что ли? — спросил он.

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

— Опять пепел на пол стряхиваешь! — строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих, — это главное — он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек и называет себя не иначе — реалистом. «Мы, реалисты...» — начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

— Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? — спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним). Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

— Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости. — Очень хочется как-нибудь уязвить этот телефонный столб. Нисколько он не практичный, и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

— Неправда, — сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. — Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

— А тебе что, очень тоскливо?

— То есть... на белый свет смотреть тошно.

— Значит, ты — умница.

Пауза.

— Двадцать копеек с меня, — говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намека на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет. Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напрашивается на спор, и, если в спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, особенно балет — все это никому не нужно. Кино — ничего, кино можно оставить, а всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, «расхолаживает» их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивание пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску, не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

— Ох, и тоска же! — опять заныл Серега.

— Перестань, слушай.

— Что?

— Ничего. Противно.

— В твоем романе люди не тоскуют? Нет?

«Не буду спорить. Господи, дай терпения».

— У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

«Не буду ругаться. Не буду».

— Песни, наверно, поют о спутниках, — продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами. — Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! «Назначаю я свидание на Луне-е!..» — передразнил он кого-то. — Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает — рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок — это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало.

Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

— Дай роман-то свой почитать, — говорит Серега.

— Пошел ты...

— Боишься критики?

— Только не твоей.

— Я ж читатель.

— Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

— Это ты зря, — обиделся Серега. — Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

— Почему?

— Потому что никогда таким хорошим не будешь все равно. — Серега поднялся и пошел к выходу. — Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу. Не только с физзарядкой плохо — все плохо. Какие-то бесконечные «шалые ветерки», какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей... А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре». Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

— Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

— Сережи... Здравствуйте! Сережи нету?

— Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

— Извините, пожалуйста.

— Он придет скоро.

— Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку, любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь

узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает — волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку — ее зовут Лена, — орет, стучит огромным кулаком по конспекту.

— Какой здесь кпд?!

Леночка испуганно вздрагивает.

— Не кричи, Сережа.

— Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

— Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же... Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

— Прошелся малость.

— К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты зашел к ней.

— Кто?

— Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

— Зачем зайти?

— Не знаю.

— Ладно трепаться. — Он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

— Как хочешь. — И склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

— Дай закурить, — чуть охрипшим голосом просит Серега.

— Идиот!

Стало тихо.

— Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал». — Когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как правило, невпопад и некстати. — Дай закурить все-таки.

— Дождешься ты, Серега: подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой — только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго молчал, глядя в пол.

— Ты советуешь сходить к ней? — тихо спросил он.

— Конечно, Серега! — Я прямо тронут его беспомощностью. — Конечно, сходить. На закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

— Со стороны всегда легко советовать...

— Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

— Ничего.

— Иди к ней.

— Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю — и пойду.

— Иди прямо с папиросой. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю... Я писатель как-никак.

— Не говори со мной, как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Остряк!

— Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье... Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и все.

— Значит, она не просила, чтобы я зашел?

— Просила.

Серега посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

— Я узнаю зайду.

— Узнай.

Серега вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но... в конце концов надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык... Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается... и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влепил сюда и «шалый ветерок» и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит, как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, кпд... Молчит, и все.

Потом девушка говорит:

— Пойдем на речку, Сережа.

— Мм. — Значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки разные чирикают... Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею... прильнула...

— Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная.

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит — не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх... пусть простит меня мой любимый роман с «шалыми ветерками», пусть он простит меня! Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу рассказа, где «он», счастливый и усталый, возвращается домой.

— Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь прочитаю?

— Хм... Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу, я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова — сидел на кровати, опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек. Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

— Ничего, — сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

— Многое не угадал? Вы где были? На речке?
— Мы нигде не были.
— Как?..
— Так.
— Ты был у нее?
— Нет.
— О-о! А где ты был?
— А в планетарий прошелся... — Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову. — Ничего рассказ, — еще раз сказал он. — Только не вздумай ей прочитать его.
— Сережа, ты почто не пошел к ней?
— Ну, почто, почто!.. Пото... Дай закурить.
— На! Осел ты, Серега!
Серега закурил, достал из-под подушки журнал «Наука и жизнь» и углубился в чтение — он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как «Шерлока Холмса».

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

В самый разгар уборочной в колхозе «Заря коммунизма» вышли из строя две автомашины — полетели коленчатые валы. Шоферы второпях недосмотрели, залили в картеры грязное масло — шатунные вкладыши поплавились. Остальное доделали головки шатунов.

Запасных коленчатых валов в РТС не было, а ехать в областной сельхозснаб — потерять верных три дня.

Колхозный механик Сеня Громов, сухой маленький человек, налетел на шоферов соколом.

— До-дд-доигрались?! — Сеня заикался. — До-д-допрыгались?!

Шоферы молчали. Один, сидя на крыле своей машины, курил с серьезным видом, второй — тоже с серьезным видом — протирал тряпкой побитые шейки коленчатых валов.

— По п-п-п-пятьдесят восьмой пойдете! Обои!.. — кричал Сеня.

— Сеня!—сказал председатель колхоза.—Ну что ты с этими лоботрясами разговариваешь?! Надо доставать валы.

— Гэ-г-где? — Сеня подбоченился и склонил голову набок. — Г-где?

— Это уж я не знаю. Тебе виднее.

— Великолепно. Тэ-т-т-тогда я вам рожу́ их. Дэ-д-двойняшку!

Шофер, который протирал тряпочкой израненный вал, хмыкнул и сочувственно заметил:

— Трудно тебе придется.

— Чего трудно? — повернулся к нему Сеня.

— Рожать-то. Они же гнутые, вон какие...

Сеня нехорошо прищурился и пошел к шоферу.

Тот поспешно встал и заговорил:

— Ты вот кричишь, Сеня, а чья обязанность, скажи, пожалуйста, масло проверить? Не твоя? Откуда я знаю, чего в этом масле?! Стоит масло — я заливаю.

Сеня достал из кармана грязный платок, вытер потное лицо.

Помолчали все четверо.

— Ты думаешь, у Каменного человека нет валов? — спросил председатель Сеню.

«Каменный человек» — это председатель соседнего колхоза Антипов Макар, великий молчун и скряга.

— Я с ним н-н-не хочу иметь ничего общего, — сказал Сеня.

— Хочешь не хочешь, а надо выходить из положения.

— Вэ-в-выйдешь тут...

— Надо, Семен.

Сеня повернулся и, ничего не сказав, пошел к стану тракторной бригады — там стоял его мотоцикл.

Через пятнадцать минут он подлетел к правлению соседнего колхоза. Прислонил мотоцикл к заборчику, молодцевато взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Антипова. Тот собрался куда-то уезжать.

— Привет! — воскликнул Сеня. — А я к тебе... З-з-здорово!

Антипов молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

— Кэ-к-как делишки? Жнем помаленьку? — затараторил Сеня.

— Жнем, — сказал Антипов.

— Мы тоже, понимаешь... фу-у! Дни-то!.. Золотые де-де-денечки стоят!

— Ты насчет чего? — спросил Антипов.

— Насчет валов. Пэ-п-п-подкинь пару.

— Нету. — Антипов легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.

— Слушай, мэ-м-монумент!.. — Сеня пошел следом за Антиповым. — Мы же к коммунизму п-подходим!.. Я же на общее дело... Дай два вала!!!

— Не ори, — спокойно сказал Антипов.

— Дай пару валов. Я же отдам... Макар!

— Нету.

— Кэ-к-кулак! — сказал Сеня, останавливаясь. — Кэ-к-когда будем переходить в коммунизм, я первый проголосую, чтобы тебя не брать.

— Осторожней, — посоветовал Антипов, залезая в «Победу». — Насчет кулаков — поосторожней.

— А кто же ты?

— Поехали, — сказал Антипов шоферу.

«Победа» плавно тронулась с места и, переваливаясь на кочках, как гусыня, поплыла по улице.

Сеня завел мотоцикл, догнал «Победу», крикнул Антипову:

— Поехал в райком!.. Жаловаться на тебя! Приготовь валы, штук пять! Мне, пэ-п-правда, только два надо, но попрошу пять — охота н-н-наказать тебя!

— Передавай привет в райкоме! — сказал Антипов.

Сеня дал газку и обогнал «Победу».

В приемной райкома партии было людно. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.

Высокая дверь, обитая черной клеенкой, то и дело открывалась — выходили одни и тотчас, гася на ходу окурки, входили другие.

Сеня сердито посмотрел на всех и сел на стул.

— Слишком много болтаете! — строго заметил он.

Мягко хлопала дверь. Выходили из кабинета то радостные, то мрачные.

Сеня закурил.

С ним рядом сидел какой-то незнакомый мужчина городского вида, лысый, с большим желтым портфелем.

— Вы кэ-к-крайний? — спросил его Сеня.

— Э... кажется, да, — как-то угодливо ответил мужчина.

Сеня тотчас обнаглел.

— Я впереди вас п-п-пойду.

— Почему?

— У меня машины стоят. Вот почему.

— Пожалуйста.

К Сене подсел цыгановатый мужик с буйной шевелюрой, хлопнул его по колену.

— Здорово, Сеня!

Сеня поморщился, потер колено.

— Что за д-д-дурацкая привычка, слушай, руки распускать!

Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.

— Судьба решается, Сеня.

— Все насчет тех т-т-тракторов?

— Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов. — Курчавый заметно волновался. — Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.

— А куда вы столько нахватали? Стоят же они у вас.

— Нынче стоят, а завтра пойдут — расширим пашню...

— Н-н-ненормальные вы, — сказал Сеня. — Когда расширите, тогда и покупайте. Что их, солить, что ли!

— Тактика нужна, Сеня, — поучительно сказал курчавый. — Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый кашлянул в ладонь, еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет. И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал из него лист и, склонившись, стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

— Ну что?.. Сказал н-н-несколько слов? Или н-н-не успел?

— Ковров понастелили, —проворчал курчавый. Брезгливо взял двумя пальцами черный комочек и бросил в урну.

Лысый гражданин пошевелился на стуле.

— Что, не в духе сегодня? — спросил он курчавого (он имел в виду секретаря райкома).

Курчавый ничего не сказал, вошел снова в кабинет.

— Не в духе, — сказал лысый, обращаясь к Сене. — Точно!

— Я сам не в духе, — ответил Сеня.

Чтобы не быть в кабинете многословным, Сеня заранее заготовил фразу: «Здравствуйте, Иван Васильевич. У нас прорыв: стали две машины. Нет валов. Валы есть у Антипова. Но Антипов не дает».

Секретарь сидел, склонившись над столом, смотрел на людей немигающими усталыми глазами, слушал, кивал головой, говорил прокуренным, густым голосом. Говорил

негромко, коротко. Он измотался за уборочную, изнервничался. Скуластое, грубоватой работы лицо его осунулось, приобрело излишнюю жесткость.

— Здравствуйте, Иван Васильевич!

— Здорово. Садись. Что?

— П-п-прорыв... Два наших охламона залили в машины грязное масло... И, главное, у-у-убеждают, что это не их дело — масло п-п-проверить! — Сеня даже руками развел. — А чье же, м-м-милые вы мои? Мое, что ли? У меня их на шее пя-п-пятнадцать...

— Ну а что случилось-то?

— Валы полетели. Стоят две машины. А з-за... это... запасных валов нету.

— У меня тоже нету.

— У Антипова есть. Но он не дает. А в сельхозснаб сейчас ехать — вы ж понимаете...

— Так что ты хочешь-то?

— Позвоните Антипову, пусть он...

— Антипов меня пошлет к черту и будет прав.

— Не пошлет, — серьезно сказал Сеня. — Что вы!

— Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Антипов — снабженец? Как можно докатиться до того, чтобы ни одного вала в запасе не было? А? Чем же вы занимаетесь там?

Сеня молчал.

— Вот. — Секретарь положил огромную ладонь на стекло стола. — Где хотите, там и доставайте валы. Вечером мне доложите. Если машины будут стоять...

— Понятно. По-по-понял. До свиданья.

— До свиданья.

Сеня быстро вышел из кабинета. В приемной оглянулся на дверь и сердито воскликнул:

— Очень хо-хо-хорошо! — И потер ладони. — П-просто великолепно!

В приемной остался один лысый гражданин. Он сидел, не решаясь входить в кабинет.

— Пятый угол искали? — спросил он Сеню и улыбнулся; во рту его жарко вспыхнуло золото вставленных зубов.

Сеня грозно глянул на золотозубого. И вдруг его осенило: городской вид лысого, его гладкое бабье лицо, золотые зубы, а главное, желтый портфель — все это непонятным образом вызвало в воображении Сени чарующую картину заводского склада... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат ва-

лы — огромное количество коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви. Прохладно и остро пахнет свежим маслом. Раза три за свою жизнь Сеня доставал запчасти помимо сельхозснаба. И всякий раз содействовал этому какой-нибудь вот такой тип — с брюшком и с портфелем. Сеня подошел к золотозубому, хлопнул его грязной рукой по плечу.

— С-с-слушай, друг!.. — Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. — У тебя на авторемонтном в го-городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо! — Сеня чиркнул себя по горлу ребром маленькой темной ладони. — Литр ставлю.

Лысый снял с плеча Сенину руку.

— Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, — строго сказал он. Потом деловито спросил: — Он сильно злой?

— Кто?

— Секретарь-то.

Сеня посмотрел в серые мутновато-наглые глаза лысого и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

— Н-н-не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя по-по... это... подожду здесь. Иди, не робей.

Лысый медленно поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал. Быстренько снял галстук и сунул его в карман.

— Тактика нужна, тактика, — пояснил он Сене. — Правильно давеча твой друг говорил. — Откашлялся в ладонь, мелко постучал в дверь.

Дверь неожиданно распахнулась — на пороге стоял секретарь.

— Здравствуйте, товарищ первый секретарь, — негромко и торопливо сказал лысый. — Я по поводу алиментов.

Секретарь не разобрал, по какому поводу пришел лысый.

— Что?

— Насчет алиментов.

— Каких алиментов?..

Лысый снисходительно поморщился.

— Ну, с меня удерживают... Я считаю, несправедливо. Я вот здесь подробно, в письменной форме... — Он стал вынимать из желтого портфеля листы бумаги.

— Вот тут на улице, за углом, прокуратура, — показал секретарь, — туда.

Лысый стал вежливо объяснять:

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там. Здесь нужен партийный подход... Я считаю, что так как у нас теперь установка на справедливость...

Секретарь устало прислонился спиной к дверному косяку.

— Идите к черту, слушайте!.. Или еще куда! Справедливость! Вот по справедливости и будете платить.

Лысый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

— Между прочим, Ленин так не разговаривал с народом. — Повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону. — Все начисто забыли!

— Не туда, — сказал секретарь. — Вон выход-то!

Лысый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал, ни к кому не обращаясь:

— А кричим: «Коммунизм! Коммунизм!»

Секретарь проводил его взглядом, потом повернулся к Сене.

— Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

— По-моему, это по-по-п-полезный человек.

— А ты чего сидишь тут?

— Я уже пошел, все. — Сеня встал и пошел за лысым.

Лысый шагал серединой улицы — большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

— Разволновался? — спросил он.

— А заелся ваш секретарь-то! — сказал лысый, глядя прямо перед собой. — Ох, заелся!

— Он за-за-за... это... зашился, а не заелся. Мы же го-го-горим со страшной силой! Нам весной еще т-т-три тыщи гектар подвалили... попробуй тут! Трудно же!

— Всем трудно, — сказал лысый. — У вас чайная далеко?

— Вот, рядом.

— Заелся, заелся ваш секретарь, — еще раз сказал лысый. — Трудно, конечно: такая власть в руках...

— У тебя на авторемонтном в го-го-го... — начал Сеня.

— У меня там приятель работает, — сказал лысый. — Завскладом. — И посмотрел сверху на Сеню.

Сеня даже остановился.

— Ми-ми-милый ты мой, ка-к-к... это... кровинушка ты моя! — Он ласково взял лысого за рукав. — Как тебя зовут, я все забываю?

Лысый подал ему руку.

— Евгений Иванович.

— Ев-в-ге-ге... Это... Женя, друг, выручи! Пару валов — хоть плачь!.. А? — Сеня улыбнулся. Глаза его засветились неожиданно мягким, добрым светом. — Д-д-две бутылки ставлю. — Сеня показал два черных пальца.

Лысый важно нахмурился.

— Тебе коленчатых, значит?

— Ко-ко-ко... Ага.

— Пару?

— Парочку, Женя!

— Можно будет.

Сеня зажмурился...

— В-в-в-великолепно! Махнем прямо сейчас? У меня мотоцикл. За час слетаем.

— Нет, сперва надо подкрепиться. — Женя погладил свой живот.

— Ла-ла-лады! — согласился Сеня. — Вот и чайнуха. Пять минут, эх, пять мину-ут!.. — пропел он, торопливо семеня рядом с огромным Женей. Потом спросил: — Ты сам, значит, городской?

— Был городской. Теперь в вашем районе ошиваюсь, в Соусканихе.

— Сразу видно, что го-го-го-городской, — тонко заметил Сеня.

— Почему видно?

— Очень ка-ка-к-красивый. На сцене, наверно, выступаешь? — Сеня погрозил ему пальцем и пощекотал в бок. — Ох, Женька!..

Женя густо хохотнул, потянулся рукой к груди: хотел поправить галстук, но вспомнил, что он в кармане, нахмурился.

— Бюрократ ваш секретарь, — сказал он. — Выступишь с такими...

— А ты где сам работаешь, Женя?

— По торговой.

— Хорошее дело, — похвалил Сеня.

Сели за угловой столик, за фикус.

Сеня обвел повеселевшими глазами пустой зал.

— Ну, кто там!.. Мы торопимся! По борщишку ударим? — спросил он Женю.

Женя выразительно посмотрел на него.

— Я лично устроил бы небольшой забег в ширину... С горя.

Сеня потрогал в раздумье лоб.

— Здесь?

— А где же еще?

— Это... вообще-то тут нельзя...

— Везде нельзя! — громко и обиженно заметил лысый. — Знаешь, есть анекдот...

— Ну, ладно, я поговорю пойду...

Сеня встал и пошел к буфету. Долго что-то объяснял буфетчице, махал руками, но говорил вполголоса. Вернулся к лысому, достал из-под полы пиджака бутылку водки.

— Ка-ка-калгановая какая-то. Другой нету.

Женя быстренько налил полный стакан, хряпнул, перекосился...

— Не пошла, сволочь!

Он налил еще полстакана и еще выпил.

— Ого! — сказал Сеня. — Ничего себе!

— От так. — На глазах у лысого выступили светлые слезы. — Выпьешь?

— Нет, мне нельзя.

— Правильно, — одобрил лысый.

Им принесли борщ и котлеты.

Начали есть.

— Борщ как помои, — сказал лысый.

Сеня с аппетитом хлебал борщ.

— Ничего борщишко, чего ты!

— До чего же мы кричать любим! — продолжал лысый, помешивая ложкой в тарелке. — Это ж медом нас не корми, дай только покричать.

— Насчет чего кричать? — спросил Сеня.

— Насчет всего. Кричим, требуем, а все без толку.

Лысый хлебнул еще две ложки, откинулся на спинку стула. Его как-то сразу развезло.

— Вот ты, например, — начал он издалека, — так называемый Сеня: ну на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны?

Сеня, не прожевав кусок, воскликнул:

— Я ему битый час т-т-толкую, а он!..

— Я говорю: тебе! Лично тебе!

— Нужны, Женя.

Лысый поморщился, оглянулся кругом, повалился грудью на стол и заговорил негромко:

— Жизни-то никакой нету!.. Никаких условий! Зако-

пов понаписали — во! — Лысый показал рукой высоко над полом. — А все ж без толку. Пшик.

— Как это п-п-пшик? — Сеня отложил ложку. — Какие законы?

— А всякие. Скажем, про алименты... — Лысый полез под стол за бутылкой, но Сеня перехватил ее раньше.

— Хватит, а то ты за-запьянеешь. Мы же за ва-валами поедем.

— Валы!.. — Лысого неудержимо вело. — Они небось на «Победах» разъезжают, командывают, а мы вкалываем, валы достаем. Алименты вычитать — это у них есть законы!.. Равенство!.. — Лысый говорил уже во весь голос.

Сеня внимательно слушал.

— Ешь! — зло сказал он. — Чего ты развякался-то?

— Не хочу есть, — капризно сказал лысый. — И в никакой коммунизм вообще я не верю. Понял?

— По-по-почему?

— Потому. — Лысый посмотрел на Сеню, пододвинул к себе тарелку и стал есть. — Тебе валы-то какие нужны? Коленчатые?

Сеня менялся на глазах — темнел.

— Почему, интересно, в коммунизм не веришь? — переспросил он.

— Ты только не ори, — сказал лысый. — Понял? От... А валы мы достанем.

— Вы-вы-вы... — Сеня показал рукой на дверь. — Выйди отсюда. Слышишь?!

— Чудак, — миролюбиво сказал лысый. — Чего ты разошелся?

Сеня грохнул кулаком по столу; один стакан подпрыгнул, упал на пол и раскололся.

Из кухни вышли повар и официантки.

...Сеня и лысый стояли друг против друга; лысый был на две головы выше Сени; Сеня смотрел на него снизу гневно, в упор.

— Ты не очень тут... понял? — Лысый трусливо посмотрел на официанток, усмехнулся. — От дает!..

Сеня толкнул его в мягкий живот.

— Кому сказано: выйди вон!

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то я... Смотри у меня! — Лысый пошел к двери, Сеня — за ним. — Смотри у меня!

— Я тебя насквозь вижу, паразит!

— Дурак ты!

— Я т-т-те по-по-кажу...

Около двери лысый обернулся, ощерился и небольно ткнул пухлым кулаком Сеню в грудь. Прошипел:

— Прислужник несчастный! Обормот!

Сеня отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду.

Дверь с треском распахнулась. Лысый вылетел на крыльцо и стал быстро спускаться по ступенькам. Сеня успел догнать его и пнул в толстый зад.

— Де-де-деятель вшивый!

— Вот тебе, а не валы! — крикнул снизу лысый. — Дурак неотесанный!

Лысый пустился тяжелой рысью по улице, оглянулся на бегу, показал Сене фигу.

Сеня крикнул ему вслед:

— Я на тебя в «Крокодил» на-на-напишу, зараза! Пе-пе-пережиток! Гад подколодный!

Лысый больше не оглядывался.

Сеня вернулся в чайную, расплатился с официанткой, спросил ее на всякий случай:

— У тебя на авторемонтном в го-го-городе никакого знакомого нету?

— Нет. Чего с лысым-то не поделили? — спросила официантка.

— Я на него в «Крокодил» на-н-напишу, — сказал Сеня, еще не остывший после бурной сцены. — Он в Соусканихе работает... Я его найду, гада!

На короткое мгновение в глазах Сени опять встала сказочная картина заводского склада с холодным мерцанием коленчатых валов на стеллажах — и пропала.

— А ни у кого тут из ваших в го-го-городе на авторемонтном нету знакомых?

— Откуда?!

Сеня завел мотоцикл и поехал к Макару Антипову. Маленькая цепкая фигурка на мотоцикле выражала собой одно несокрушимое стремление — добиться своего.

Антипова он нашел в полеводческой бригаде, в вагончике.

Макар сидел на самодельном, на скорую руку сколоченном стуле, пил чай из термоса.

— Макар!.. — с ходу начал Сеня. — Я здесь по-по-погибну, но без валов не уйду. Ты что, хочешь, чтобы я на тебя в «Крокодил» написал? Ты что...

— Спокойно, — сказал Макар. — Сбавь. В «Крокодил» — это вас надо, а не меня. — Он достал из кармана

засаленный блокнот, нашел чистый лист, вырвал его и написал крупно:

«ЕГОР, ДАЙ ЕМУ ПАРУ ВАЛОВ, В ДОЛГ, КОНЕЧНО.

Антипов».

Сеня оторопел.

— С-с-пасибо, Макарушка!..

— Только жаловаться умеете, — сердито сказал Антипов. — Хозяева мне!.. Горе луковое!

— А-а! — Сеня сообразил, чья могучая рука вырвала у Макара валы. — Вот так, М-м-макар! А то ломался, по-по-понимаешь...

Макар продолжал пить чай из термоса.

Через час Сеня подлетел к двум своим машинам, начал отвязывать от багажника валы.

Оба шофера засуетились около него.

— Сеня!.. Милая ты моя душа! Достал?

— Вечером умоешься — я тебя поцелую...

— Ло-ло-лоботрясы, — сердито сказал Сеня, — в «Крокодил» вот катануть на вас!.. — Вытер запыленное лицо фуражкой, сел на стерню, закурил. — Да-да-да... это... давайте живее!

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

«А что, мама? Тряхни стариной — приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом — это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

— Зовет Павел-то к себе, — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами — поезжай, раз зовет.

— У тебя когда каникулы-то? — спросила бабка строго.

Шурка навострил уши.

— Какие? Зимние?

— Какие же еще, летние, что ль?

— С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой — задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

— А что? — еще раз спросил он.

— Ничего. Учи знай. — Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну — посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

— Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай, — говорит, — мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал что, а бабка ей громко:

— Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать...

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку — такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

— Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

— Привет! — сказал Шурка. — Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

— В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

— Пожалуйста, — сказал он. — Мы так, знаешь, па сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

— Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

— Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

— Пиши, как тебе говорят! — приказала бабка. — Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

— Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями — все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

— На почте все равно переделают, — вставил Шурка.

— Пусть только попробуют!

— Ты и знать не будешь.

— Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова — насчет того, что он стал большой и послушный.

— Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: «жутко».

— ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

— Посчитаем, — злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: — Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной, ждала.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят!

Так? Множим шестьдесят на тридцать — одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто — имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! — торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

— Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

— Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

— Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

— Лететь, Егор. Расскажи все по порядку—как и что.

— Так чего тут рассказывать-то? — Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. — Доедете до города, там сядете на Бийск — Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

— Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. — Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

— Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

— Записывай, Шурка, — велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

— Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем

проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

— В Свердловске, правда, сделаете посадку...

— Зачем?

— Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. — Егор решил, что теперь можно и выпить. — Ну?.. За легкую дорогу!

— Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

— Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

— Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

— Как это? — не понял Егор.

— Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердитей стараетесь. Сахару больше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба.

— Да, — задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. — Да-а, — еще раз сказал он. — Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

— А что?

— Да так... Все может быть. — Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. — Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль:

— Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет — это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

— На самолете лететь — это надо нервы да нервы! Вот он поднимается — тебе сразу конфетку дают...

— Конфетку?

— А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе,

допустим, говорят: «Привяжись ремнями». — «Зачем?» — «Так положено». Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то — «положено».

— Господи, господи! — сказала бабка. — Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить. — Егор посмотрел на четверть с пивом. — Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться — и пожалуйста... Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока... — Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. — Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

— Свят, свят! — сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл — слушал.

— Да. Ну я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего — отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

— Я одного не понимаю, — продолжал Егор, обращаясь к Шурке, — почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

— Ну и пиво у тебя, Малапья!

— Ты шибко-то не налегай — захмелеешь.

— Пиво просто... — Егор покачал головой и выпил. — Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой. — Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

— А вообще-то не бойтесь! — громко сказал он. — Садитесь только подальше от кабины — в хвост — и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

— Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел — не поговорили толком.

— Слабый ты какой-то стал, Егор.

— Устал, поэтому. — Егор снял с воротника полушубка соломинку. — Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено — нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое... — Егор покачал головой, засмеялся. — Ну, пошел. Ничего, не робейте — летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

— До свиданья, — сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

— Страшно, Шурка, — сказала бабка.

— Летают же люди...

— Поедем лучше на поезде?

— На поезде — это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

— Господи, господи! — вздохнула бабка. — Давай писать Павлу. А телеграмму анулироваем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

— Значит, не полетим?

— Куда же лететь — страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм...

Шурка задумался.

— Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людями...

Шурка склонился к бумаге.

— Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... А мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в

окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня — что это я вам написал — не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно — заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом — Александр».

А бабка между тем диктовала:

— ...Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

— Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

— Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

— А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного

сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

— Шурк! — позвала бабка.

— А?

— Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

— Наверно. А что?

— Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

— Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

— Так и пустили всех, — недоверчиво сказала она.

— Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

— Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, — сказал Шурка недовольно. — Чего ты испугалась-то?

— Спи знай, — приказала бабка. — Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

— Спорим, что не испугаюсь?

— Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

ЛЕЛЯ СЕЛЕЗНЕВА С ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

На реке Катуни, у деревни Талица, порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел.

Пора была страдная. В первые же три часа на той стороне реки скопилось машин двадцать с зерном. И подъезжали и подъезжали новые. И подстраивались в длинную вереницу ЗИЛов, ГАЗов... В объезд до следующего парома было километров триста верных. Стояли. Ждали.

Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь, орал в телефон:

— А что я-то сделаю?! Ну!.. Да работает же бригада! А? Всех послал, конечно!.. А я-то что могу?! — Бросал трубку и горько возмущался: — Нет, до чего интересные люди!

Тут же, в сельсовете, сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот.

— Я с факультета журналистики, Леля Селезнева, — представилась она, когда пришла. — А сейчас я к вам из краевой газеты. Что вы предприняли как председатель сельсовета? Конкретно!

Замученный Трофимов посмотрел на нее, как па телефонный аппарат, закурил и сказал:

— Все предприняли, милая девушка.

Леля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курносая, с красивыми темными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке.

Трофимов все кричал в телефонную трубку. Леля строчила. Потом Трофимов вконец озверел, бросил трубку, встал, злой и жалкий.

— У меня будет такая просьба, — обратился он к Леле. — Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром — черт его душу знает.

Леля села к аппарату и стала ждать звонка. Телефон зазвонил скоро.

— Да, — спокойно сказала Леля. — Слушаю вас.

— Кто это?

— Это Талицкий сельсовет.

— Трофимова!

— Трофимов ушел на реку.

— Купаться, что ли? — Человек на том конце провода не был лишен юмора.

Леля обиделась.

— Между прочим, момент слишком серьезный, чтобы так дешево острить.

Человек некоторое время молчал.

— Кто это говорит?

— Это Леля Селезнева с факультета журналистики. С кем имею честь?

Человек на том конце положил трубку. Пока он нес ее от уха до рычажка, Леля услышала, как он сказал кому-то:

— Там факультет какой-то, а не сельсовет.

У Лели пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под названием «У семи нянек дитя без глазу». Еще в районе она узнала, что в Талице сорвало паром и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что талицкий паром обслуживают три района и заменить старый трос, которым удерживался паром, новым никто, ни один из районов не догадался.

Опять звонил телефон, Леля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя сельсовета Трофимова. «...Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и «выходят в коридор покурить».

Статья была злая. Леля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трех районов. Зато, когда она дошла до места, где несчастные шоферы, собравшись на той стороне у берега, «с немой тоской смотрят на неподвижный паром», у Лели на глаза навернулись слезы.

Телефон звонил и звонил.

Леля писала.

В сельсовет заглянула большая потная голова в очках.

— Где Трофимов?

— Ушел к парому.

— Я сейчас только с парома. Нету его там.

Голова с любопытством разглядывала девушку.

— Я извиняюсь, вы кто будете?

— Леля Селезнева с факультета журналистики.

— Корреспондентка?

— Да.

— Приятно познакомиться. — В комнату вошел весь человек, большой, толстый, в парусиновом белом костюме, протянул Леле большую потную руку. — Анашкин. Заместитель Трофимова.

— Что с паромом?

— С паромом-то? — Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причем так, что можно было понять: нашумели только, ничего особенного там не произошло. — Через часок сделают. Канат лопнул. Фу-у!.. Ну как, нравится вам у нас?

— Нравится. Значит, паром скоро сделают?

— Конечно. — Анашкин вопросительно посмотрел на Лелю. — Вы где остановились-то?

— Нигде пока.

— Так не годится, — категорично заявил Анашкин. — Пойдемте, я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас, грешных. Как вас, Лиля?

— Леля.

— Леля... — Анашкин молодо поднялся с дивана. — Хотел дочь свою так назвать... но... жена на дыбошки стала. Красивое имя.

— Я не понимаю...

— Хочу устроить вас пока. Пойдемте ко мне, например... Посмотрите: понравится — живите сколько влезет.

— Я сейчас не могу. Вообще я хотела уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это. — Леля показала на блокнот.

— Понимаю, — сказал Анашкин. — Жду вас.

— До свиданья.

Анашкин вышел. Он понравился Леле.

Зазвонил телефон.

Леля взяла трубку.

— Слушаю вас.

— Я просил Талицу, — сердито сказал густой сильный голос.

— Это и есть Талица. Сельсовет.

— Где председатель ваш?

— Не знаю.

— Кто же знает? — Бас явно был не в духе.

Леле это не понравилось.

— Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?

— Кто это говорит? — пророкотал удивленный бас.

Леля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила:

— Это Леля Селезнева с факультета журналистики.

— Что же вы налетаете на старых знакомых, Леля с факультета? — Бас потеплел, и Леля узнала его: секретарь райкома партии Дорофских Федор Иванович. Это он три часа назад рассказал ей всю историю с паромом.

— Так что же там с паромом-то, Леля? — поинтересовался секретарь. — Вы там ближе теперь...

Леле сделалось очень хорошо оттого, что ее совершенно серьезно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района и что она ближе всех сейчас к месту происшествия. Леля даже мимолетно подумала, что надо будет узнать, давно ли Дорофских работает здесь секретарем и стоит ли его вставлять в разгромную статью.

— С паромом следующее: через час он будет готов! — выпалила Леля. — Там, оказывается, порвался канат...

— Да что вы? — Секретарь несказанно обрадовался. — Это серьезно, Леля? Милая вы моя!.. Вот спасибо-то!

— Не мне спасибо, а бригаде плотников.

— Ну, понятно! Вот напишите о ком! Ведь они почти чудо сотворили!..

— Да, — сказала Леля и положила трубку. Закрыла блокнот с недописанной статьей и вышла из сельсовета.

Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить ее немедленно, а главное, что паром скоро сделают, — все это повернуло ей мир другой стороной — светлой.

«Громить легко. Но это еще никогда по-настоящему не действовало на людей», — думала Леля.

...Бригада плотников, семь человек, работала на пароме уже девять часов подряд.

Когда Леля переправилась к ним на лодке, у них был перекур.

— Здравствуйте, товарищи! — громко и весело сказала Леля.

Днище и бок одного баркаса были проломлены: паром сидел, круто накренившись. Леля ступила на покатый настил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и необидно засмеялся.

— Поздравляю вас, товарищи! — прибавила Леля уже без веселости.

В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил:

— С чем, дочка?

— С окончанием работы. Я из областной газеты к вам. Хочу написать о вашем скромном подвиге...

Молодой здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурок в реку и весело сказал:

— Начинается! — И посмотрел на Лелю так, точно ждал, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке.

Леля растерянно смотрела на плотников.

— Нам до окончания-то еще, оё-ёй, сколько! Он еще пока на камушках сидит, — пояснил бригадир. — Его еще зашить надо, да выкачать водичку, да оттащить... Много работки.

— Как же... Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы.

— Кто сказал?

— Толстый такой... в сельсовете работает...

— Анашкин. — Плотники понимающе переглянулись.

Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина:

— Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так?.. А денюжки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится: боится — вспомнят. Ему это нежелательно.

Леля откинула со лба короткие волосы.

— Ему этот факт выйдет боком, — серьезно сказала она. — Сигаретка есть у кого-нибудь?

Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей.

— Махорки можно, — неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика бригадира, желая, видимо, понять: не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости?

Но бригадир молчал.

— Могу «Беломорканал» удружить, — сказал здоровенный парень, Митька Воронцов, с готовностью подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Леля выкинула что-нибудь совсем невиданное.

— Спасибо, — Леля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила и затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь.

— Давай, ребята, — негромко сказал бригадир, поднимаясь.

Леля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом.

Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались небольшими кучками у машин и разговаривали. Человек шесть наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер — пек картошку.

А далеко-далеко, за синим лесом, заходило огромное красное солнце.

Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке.

Леле стало грустно. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и в общем-то простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти столько-то ча-

сов, прежде чем паром наладят, значит, машины с хлебом — а что сделаешь? — будут стоять и ждать и шоферы будут собираться группами и рассказывать анекдоты. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдоты. В конце концов все знают, что надо ждать. И смешно и глупо здесь суетиться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался — вот и все. Жизнь на этом не остановилась. Те же шоферы, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвалы и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелегким дорогам, наверстывая по мере возможности упущенное. И не будут чувствовать себя героями, так же как сейчас не испытывают угрызений совести оттого, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоскою на паром.

Леля вспомнила секретаря Дорофских и то, как она ему говорила: «С паромом следующее...», и ее собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни. И все делают люди. А киснуть и хныкать — это легче всего. Это еще ни для кого не представлялось очень трудным. Все делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее.

Она поднялась и подошла к старику плотнику.

— Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?

— А? — Бригадир выпрямился. — Мало? Нет, тут больше не надо, пожалуй... Да и нету у нас их больше-то.

— Но ведь стоят машины-то! — тихо, с отчаянием сказала Леля. — Что же делать-то?

— Что делать?.. Вот делаем.

— Когда вы думаете закончить?

— Завтра к обеду... — Старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки.

— Ну нет! — твердо сказала Леля. — Так не пойдет. Вы что?

— Что? — не понял старик.

— Товарищи! — обратилась Леля ко всем. — Товарищи, есть предложение: собрать коротенькое собрание! Пятиминутку. Я предлагаю... — продолжала Леля, — работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государству простой этих машин, но

сами понимаете — много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи, скажу, чтобы вам принесли сюда ужин...

— Ну, это уж — привет! — сказал Митька Воронцов.

— Да неужели вы не понимаете! — Леля даже пристукнула каблучком по палубе. — А как было в войну — по две смены работали!.. Женщины работали! Вы видите, что делается? — Леля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос ее прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично, но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае, все посмотрели туда, куда она показала, — там стояли машины с хлебом.

— У нас на это начальство есть, — суховато сказал бригадир.

— Мы что, двужильные, что ли? — спросил Митька.

Он уже не ждал от девушки «фокусов», он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли нахмурившись.

— Товарищи!.. — опять начала Леля.

— Да что «товарищи»! — обозлился Митька. — Тебе ж сказали: не останемся... — Митьке позарез нужно было быть вечером в клубе.

— Эх, вы!.. — сказала Леля и неожиданно для себя заплакала. — Люди стоят, машины стоят... их ждут... а они... — говорила Леля, слезая с парома. Она вытирала ладошкой слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились: она очень устала сегодня, изнервничалась с этим паромом.

Плотники растерянно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отвязала лодку и, неумело загребая веслами, поплыла к берегу.

— Ты, Митька, балда все-таки, — сказал бригадир. — Дубина просто.

— Он шибко грамотный стал, — поддакнул один из плотников. — Вымахал с версту, а умишка ни на грош.

Митька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду — надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит-заплату. Остальные тоже молча взялись за топоры.

На берегу Лелю встретил председатель Трофимов.

— Чего они там? — встревожился он, увидев заплаканную Лелю. — Небось лаяться начали?

— Да нет! — Леля выпрыгнула из лодки. — Попро-

сила их... В общем, ну их! — Леля хотела идти в деревню.

Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке.

— Поедем. Не переживай... Попросила остаться их?

— Да.

— Сейчас поговорим с ними... останутся. Я еще трех плотников нашел. К утру сделаем.

Леля посмотрела в усталые умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофты заплаканные глаза.

Трофимов подгреб к парому, первым влез на него, потом подал руку Леле.

Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю.

— Ну что тут? — спросил Трофимов.

— Ночь придется прихватить, — сказал старик, сворачивая папироску.

— Я еще троих вам подброшу. К утру надо сделать, черт его... — Председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кисету бригадира.

Леля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать — теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лелю, на председателя, сказал:

— Это... Ну, ладно. — И пошел к своему месту.

— Ничего, — сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал.

Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался.

— Ты чего? — спросил бригадир. — Чего не вылезаешь-то? Обмерил?

— Обмерил, — сердито ответил Митька.

— Ну?

— Чего «ну»?

— Вылезай, чего ты!

— Да тут... трусы спали, заразы. Кха!..

Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку.

— Это тебя бог наказал, Митька.

Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться.

— Нашел?

— Найдешь... кхах...

— Значит, уплыли.

— Вот история-то! — сказал бригадир и оглянулся на Лелю.

— Я отвернусь, а он пусть вылезает, — предложила Леля.

— Митька!

— Ну!

— Она отвернется — лезь!

Митька вылез, надел брюки и взялся за топор.

Опять на пароме застучали восемь топоров, и стук их далеко разносился по реке.

К утру паром починили.

Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу.

На палубе сидели плотники, курили (бригаде нужно было сплавать разок на ту сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом). Кое-кто отмывался, доставая ведром воду, бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас, председатель (он оставался всю ночь на пароме) оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Леля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце.

На той стороне выли стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые со сна, отсыревшие... Они громко зевали.

«Это было грандиозно! — начала писать Леля. — Двенадцать человек, вооружившись топорами...» Она зачеркнула «вооружившись», подумала и выбросила все начало. Написала так: «Это была удивительная ночь! Двенадцать человек работали, ни разу не передохнув...» Подумала, вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова: «Неповторимая, удивительная ночь! На отмели, на камнях, горит огромный костер, освещая трепетным светом большой паром. На пароме двенадцать человек...» Леля и этот лист бросила в реку.

Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов, те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед.

Леля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь — горластая, веселая — катилась дальше. Ночь осталась позади, и нико-

му теперь нет до нее дела. Теперь важно как можно быстрее переправить машины.

Паром отчалил. Стало немного потише.

Леля вырвала из блокнота лист и написала:

«Федор Иванович! Виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт парома, но денежки эти куда-то сплыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью. Леля Селезнева».

Леля свернула листок треугольником, подписала: «Секретарю РК КПСС тов. Дорофских Ф. И.», — и отдала треугольник одному из шоферов.

— Вы ведь через райцентр поедете?

— Да.

— Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком.

— Давай.

Паром подплыл к берегу; стали съезжать машины. Опять гул, рев, крики...

А Леля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню, курила Митькин «Беломор» и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой.

ГРИНЬКА МАЛЮГИН

Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый.

Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось.

— Меня же все жалеют! — говорил он, когда был подвыпивши, и стучал огромным кулаком себе в грудь, и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же девять орденов!»

Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем — он в воскресенье на-

денет черные плисовые штаны, куртку с «молниями», намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне — просто так, «бурлачить».

— Женился бы хоть, телеграф, — советовала ему мать.

— Стукнет тридцать — женюсь, — отвечал Гринька.

Гриньку очень любили как-нибудь называть: «земледав», «бы́ча», «телеграф», «морда»... И все как-то шло Гриньке.

Вот какая история приключилась однажды с Гринькой.

Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в девять, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище — это километрах в семнадцати от города, за горой.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, квадратные.

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином.

Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы.

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э! — заорал он. — Куда вы?! Успе-ем же!.. Э-э!..

— Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Гринька.

— Сча-ас... Ох и будет! — послышался сзади чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак... Что тут брезентом сделаешь? Брезент...

Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком били — мягко и больно: «Скорей! Скорей!» Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, дванул стартер, воткнул скорость — человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

Река была в полукилометре от хранилища: Гринька правил туда, к реке.

Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега осталось метров двадцать. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел — там колотились бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось метров пять. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули

бочки. Взвыл мотор... Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый стремительный столб огня. И стало тихо.

Гринька встал и тут же сел — в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

— Мм... ногу сломал, — сказал Гринька самому себе.

К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал:

— Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести!

— Ногу сломал, — сказал Гринька.

— В герои лезут! Молокососы!.. — кричал толстый.

Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.

— Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера. Снял очки, трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

— Лежать теперь. Черти!

Гриньку подняли и понесли.

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин. Один ходил с «самолетом», остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки. Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

— Слышь!.. Неужели у тя сердца нету?

— Нету, — спокойно отвечал ходячий.

— Эх!..

— Вот те и «эх». — Ходячий остановился против койки белобрысого. — Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?

— Я.

— Ты... Я же и отвечу. Нужно мне это. Терпи! Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Надоела.

— Ты же ходишь!.. Сравнил.

— И ты будешь.

— А чего ты просишь-то? — спросил Гринька белобрысого. (Гриньку только что перевели в эту палату.)

— Просит, чтоб я ему гири отвязал, — пояснил ходячий. — Дурней себя ищет. Так — ты полежишь и встанешь, а если я отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

— Не могу я больше! — заскулил белобрысый. — Я психически заболею: двадцать вторые сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду...

— Ори, — спокойно сказал ходячий.

— Ты что, тронулся, что ли? — спросил Гринька парня.

— Няня! — заорал тот.

— Как тебе не стыдно, Степан, — сказал с укоризной один из лежачих. — Ты же не один здесь.

— Я хочу книгу жалоб и предложений.

— Зачем она тебе?

— А чего они!.. Не могли умнее чего-нибудь придумать? Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова...

— Ты и есть боров, — сказал ходячий.

— Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища, из конторы).

— Привет! — воскликнул он, увидев Гриньку. — А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь... Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! — Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати. Огляделся. — Ну и житье у вас, ребята!.. Лежи себе, плюй в потолок.

— Махнемся? — предложил мрачно белобрысый.

— Завтра махнемся.

— А-а!.. Нечего тогда вякать. А то сильно умные все.

— Ну как? — спросил мужчина Гриньку. — Ничего?

— Все в ажуре, — сказал Гринька.

— Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?

— А сам не знаю.

— Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

— Я ж танкистом в армии был, — хвастливо сказал Гринька. — Вот попробуй пощекоти меня — хоть бы что. Попробуй!

— Хэх!.. Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило... Сколько лежать придется?

— Не знаю. Вон друг двадцать вторые сутки парится. С месяц, наверно.

— Перелом бедренной кости? — спросил белобрысый. — А два месяца не хочешь? «С месяц»... Быстрые все какие!

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня

как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин, из Суртайки... Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Гринька самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— Речь?.. Хэх!.. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай!

— Ничего.

Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свиданья» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь.

Гринька некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У меня наушники не работают. — Детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Гринька еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он нисколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь, не верь, — сказал Гринька. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло! — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал, правда.

— Завидки берут, да? — спросил Гринька и стал смотреть журналы. — Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил белобрысый.

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом».

— Приходил-то? — Гринька перелистнул страничку журнала. — Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме — нельзя.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

— Генерал?! Ха-ха-ха!.. Я ж его знаю! Он же ж на бензохранилище работает!

— Да? — спросил Гринька.

— Да!

— Так чего же ты тогда спрашиваешь, если знаешь?

Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.

— Ой, мама родимая!.. Ой, кончаюсь!.. — стонал белобрысый.

Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно.

В палату вошел встревоженный доктор.

— В чем дело, больные?

— О-о!.. О-о!.. — Белобрысый только показывал на Гриньку — не мог произнести ничего членораздельно. — Гене... ха-ха-ха! Гене... хо-хо-хо!..

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В брюках, накрашенная, с желтыми волосами — красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных.

— Здравствуйте, товарищи!

Смех потихоньку стал стихать.

— Здрассте! — сказал Гринька.

— Кто будет товарищ Малюгин?

— Я, — ответил Гринька и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. — Я вот здесь присяду. Можно?

— Боже мой! — сказал Гринька и опять попытался сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Гринька и мельком глянул на белобрысого.

Детина начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Гринька.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Гринька, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Гринька, — я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Гринька.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так... — продолжал Гринька, затягиваясь папиросой. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Гринька (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не подумала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко — так, чтоб другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь: вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людями. «Вон, скажут, герой пошел!»

Девушка тихо засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.

— Нет, это ничего, можно.

Гринька приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

— Нет... А собственно, зачем?..

— Можно, я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.

— Понимаете... я должна этот материал сдать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

— Так. — Гринька скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

— Я понимаю.

— Где вы учились?

— В школе.

— Где, в Суртайке же?

— Так точно.

— Сколько классов кончили?

Гринька строго посмотрел на девушку.

— Пять, шестой коридор. Неженатый. Не судился еще. Все?

— Родители...

— Мать.

— Чем она занимается?

— На пенсии.

— Служили?

— Служил. В танковых войсках.

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Дурость.

Девушка посмотрела на Гриньку.

— Конечно. Я же мог подорваться, — пояснил тот.

Девушка задумалась.

— Хорошо, я завтра приду к вам, — сказала она. — Только я не знаю... завтра приемный день?

— Приемный день в пятницу, — подсказал белобрысый.

— А мы сделаем! — напористо заговорил Гринька. — Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет.

— Приду. — Девушка улыбнулась. — Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо!

— Тут хорошо кормят, — опять вставил белобрысый. — Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Гринька мучительно задумался.

— Не знаю, — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. — Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое... — Гринька покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? — спросил вдруг Гринька.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса... Вас зовут Григорий?

— Малюгин Григорий Степаныч... — Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. — Приди, а?

— Приду. — Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо. — Гринька ласково смотрел на девушку.

— Да свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Гриньке:

— Как дела, герой?

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра, — попросил Гринька.

— Кто? — спросил доктор. — Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся:

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Гриньку.

— Придет, — уверенно сказал Гринька. — За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, — начал рассказывать белобрысый, — так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. «Я, — говорит, — непьющий», то-се, — начал вилять.

Гринька смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень, — похвалил белобрысый. — В армии с такими хорошо.

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул.

И приснился ему такой сон.

Будто он в какой-то незнакомой избе — нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах — вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс».

Гринька, когда служил в армии, все три года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился — не смог.

И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел — у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что стоит она в толпе и смотрит на него.

Проснулся он оттого, что кто-то негромко позвал его:

— Гриньк...

Гринька открыл глаза — на кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.

— Ты как тут? — удивился Гринька.

— Сказали мне... в сельсовете. Как же это получилось-то, сынок?

— Ерунда, не плачь. Срастется.

— И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не побежал...

— Ладно, — негромко перебил Гринька. — Начинается.

Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.

— Привезла тут тебе... Ешь хоть теперь больше. Господи, господи, что за наказание такое! Что-нибудь да не так. — Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: — Деньжонок-то нисколько не дали?

Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал:

— Ты чо? Ненормальная какая-то...

— Лежи, лежи... нормальный! — обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанежки и пирожки. — Изба-то завалится скоро... Нормальный!..

— Все, на эту тему больше не реагирую, — отрезал Гринька.

На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок». Подпись: «А. Сильченко».

Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку.

— Не в этом же дело, — проворчал он.

А. Сильченко не пришла. Гринька ждал ее два дня, потом понял: не придет.

— Не уважаю стиляг, — сказал он белобрысому.

Тот поддакнул:

— Я их вообще не перевариваю.

Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину:

— Стихи любишь?

— Нет, — признался тот.

— Надо любить, — посоветовал Гринька. — Вот слушай:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом;
Двадцать пять лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты.

Белобрысый слушал нахмурившись.

— Ну как? — спросил Гринька.

— Ничего, — похвалил детина. — Это кому ты?

Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.

— Поэму буду сочинять, — сказал он. — Про свою жизнь. Все равно делать нечего.

КЛАССНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень — шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуни, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстрянку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном «газике». Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу.

— Куда?

— До Быстрянки.

— А Салтон — это дальше или ближе?

— Малость ближе. А что?

— Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

— Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука — на штурвале, левая — локтем — на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво щурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, щурился.

— Ты еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров.

— А?.. Ничего. Не трусь, дядя. Главное в авиации что? — улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

— Главное в авиации — не трепаться, по-моему.

— Нет, не то. — Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на шофера.

— Ты!.. Авиатор!

Парень опять улыбнулся.

— Уважаю скорость, — признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На сев, что ли?

— Да... помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

— В сам Салтон или в район?

— В район. Деревня Листвянка... Хорошие места тут у вас.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано...

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ... что ты отработал на посевной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

— Клуб есть? — спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты... (Один лишний шофер да еще с машиной на посевной — это пирамидон, да еще какой!) Шутник ты, Егорыч.

— Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

— Имеется, Паша. Вот такой клуб — бывшая церковь!

— Помолимся, — сказал Пашка.

Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

Так попал Павел Егорыч в Быстрянку.

Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

— Жена должна чувствовать! — утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? — усталый, грязный — то, се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

— А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно-веселый, яркий: в бордовой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб.

— Как здесь население... ничего? — равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

— Ничего. — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что за дивчина? — спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

— Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку.

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу кое-что. Умел когда-то».

Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты! — весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка,

вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка был серьезен.

— Вы мне нравитесь, — сказал он. — Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты. — Настя в упор посмотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

— Тут поблизости забегаловки нигде нету? — спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили?

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил? — спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете сейчас ни за что... Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, каза-

лось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Где он?

— Кто?

— Инженеришка.

— Его нету сегодня.

— Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

— Вы мне не ответили па один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

— Поговорим, как жельтмены.

— Боже мой, — вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагоналевые синие галифе, бостоновый пиджак — и появился в здешней библиотеке (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги — на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених Насти.

— Почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень отложил «Огонек» и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

— Как ваша фамилия?

— Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно, искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и... подмигнул ему.

— Кроссвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся, что ответить.

— Да... А вы, я смотрю, глубже берете.

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, — сказала Настя.

— Ну?! — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

— Спасибо, — сказал он Насте. Подошел к столу, швырнул толстый том, протянул Гене руку. — Павел Егорыч.

— Гена. Очень рад!

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шумит... — И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: — Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков — так разрисуют всегда...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перелистнул страничку журнала. — А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне приснилось.

— Бывает, — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. — Вот пожалуйста — очковтиратель, — сказал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена улыбнулся.

— Вы на посевную к нам?

— Так точно. — Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это. — Сыграем в пешки? — предложил он инженеру.

— В пешки? — удивился инженер. — Может, в шахматы?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). — Думать надо. А в пешечки раз, два — и готово.

— Можно и в пешки, — согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это?

— За то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку, — пояснила Настя.

— А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет. — Ходил первым Пашка.

— Сделаем так, — начал он, устроившись удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— По — что? — нятно! — Пашка пошел второй. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

— Погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь!

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

— Вон той, Гена, крайней, — опять не стерпела Настя.

— Нет, я не могу так! — возмутился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься-то? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте.

Настя покраснела.

— Ну и проиграешь сейчас! Принципиально.

— Нет, зачем?.. Тут еще полно шансов сфотографировать меня, — снисходительно сказал Пашка. — Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена. — Нельзя же так в самом деле. Отойди!

— А еще инженер. — Настя встала и пошла к своему месту.

— Это уже... неостроумно. При чем тут инженер-то?

— Боюсь ему понравиться-а, — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

— Не понимаю: что за натура? Во все обязательно вмешивается.

— Ничего, — неопределенно сказал Пашка. — Давно здесь?

— Что?

— Я, мол, давно здесь живешь-то?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

— На ней? Да. А что?

— Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, конечно. — Пашка небрежно прихватил губами сигаретку — в уголок рта, сощурился, заложил ладони за поясок, коротким, быстрым движением расправил рубаху. — Может, в кинишко сходим?

— А что сегодня?

— Говорят, комедия какая-то.

— Можно.

— Только это... пригласи ее... — Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

— Ну а как же! — тоже серьезно сказал инженер. — Я сейчас зайду к ней... поговорю...

— Давай, давай!

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

...В кино сидели вместе все трое. Настя — между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

— У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене:

— Дай я пересяду на твое место.

— Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! — распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

— Теперь ничего?

— Ничего, — сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закучерявились синие облачка. Настя толкнула его в бок:

— Ты что?

Пашка погасил папироску... Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

— Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил. Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Ермолай.

— Да так... — сказал Пашка. Полежал несколько

минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Ермолай.

— Ну как раньше... Раньше ведь воровали?

— А-а! Черт его знает! А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

— В жизни раз бывает восемна-адцать лет, — запел он вдруг. — Егорыч, на́ рубаху. Сэнк-ю!

— Чего вдруг!

— Так. — Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. — Сфотографировано, Егорыч!

— Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть? — спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка пошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто свои?

— Холманский.

— Командировочный, что ль?

— Ну.

В круг света вышел дедун сторож, в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет, — сказал дед и зевнул. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай. — Старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя — у самой реки, над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

«Только бы собаки не было».

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

«Ну, Пашка... или сейчас в лоб получишь, или...»

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Он весь день сегодня пел эту песню.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?» — возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку — какой-то отчужденный.

«Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубахе».

Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

— Додумался? — сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался, — думал Пашка. — Сейчас будет цирк».

— Ноги-то вытри, — сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя, — что ж ты делаешь? Шальной!..

Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же — на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели... У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру», — невольно подумал Пашка.

— Сейчас же убирайся отсюда! — негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать — не из таких.

— Побеседуем, как жельтмены, — заговорил Пашка, закуривая. — Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. — Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице — от окна к столу и обратно. — Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедем со мной. Будем жить в городе. — Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил.

Она поняла это.

— Какой же ты дурак, парень, — грустно и просто сказала она. — Чего ты мелешь тут? — Она села на стул. — Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!.. — Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала. — Ты любишь, а я, потвоему, не люблю? — Настя резко повернулась к нему — в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже — так не его.

— Чего ты плачешь?

— Да потому, что вы только о себе думаете... эгоисты несчастные! Он любит! — Она вытерла слезы. — Любишь, так уважай хоть немного, а не так...

— Что же я такого сделал? В окно залез — подумаешь! Ко всем лазят...

— Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже... весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

— Как уезжать? Куда? — Пашка понял, кто этот дурак.

— Куда... Спроси его!

Пашка нахмурился.

— На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала.

Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

— Собирайся! — приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

— Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

— Сиди уж... не трепись!

— Послушайте, вы!.. Молодая, интересная... — Пашка приосанился. — Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит — не трепись?

— Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая...

— Наплевать. Одевайся. На кофту!

Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности. Пашка опять заходил по горнице.

— Из-за чего же это он приревновал? — спросил он не без самодовольства.

— Танцевали... ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

— Что же ты не могла ему объяснить?

— Нужно мне объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

— Считаю до трех: раз, два... А то целоваться полезу!

— Я те полезу! Что ты ему скажешь?

— Я знаю что!

— А я к чему там?

— Надо.

— Да зачем?

— Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли.

— Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас... Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли па дорогу. Полуторка ворчала па хозяина.

— Садись, ревушка-коровушка!.. Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая нежданная роль нравилась.

Настя залезла в кабину.

— Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

— Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем...

— Ну до чего ты, Павел...

— Что? — строго спросил Пашка.

— Ничего.

— То-то. — Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.

...Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.

— Кто это?

— Я.

— Кто я?

— Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, впустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него.

Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

— Грустные стихи сочиняешь?

— Я не понимаю, слушай...

— Поймешь. — Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги. — Любишь Настю?

— Слушай!.. — Инженер начал краснеть.

— Любишь. Значит, так: иди веди ее сюда — она в машине сидит.

— Где? В какой машине?

— На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он както сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: «В жизни раз бывает...» В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

— Все? — спросил он.

— Все, — ответил инженер.

Настя улыбнулась.

— Вот так, — сердито сказал Пашка. — Будьте здоровы. — Он пошел к выходу.

— Куда ты? Погоди!.. — запротестовал инженер. Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подсунул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виноват».

Пашке было грустно. Он беспрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игринева, последней деревни перед Салтоном, на

дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками. Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

— До Салтона подбрось, пожалуйста! — Офицер был чем-то очень доволен.

— Садись!

Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку — хорошенькая, белозубая, губки бантиком — прямо куколка! Но до Насти ей далеко.

— Куда это на ночь глядя? — спросил Пашка.

— В гости, — охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины — опять говорить со своим дружком. — Саша? Саш!.. Как ты там?!

— В ажуре! — кричал из кузова лейтенант.

— Что, дня не хватает? — опять спросил Пашка.

— Что? — Девушка мельком глянула на него и опять: — Саша? Саш!..

— Все начисто повлюблялись, — проворчал Пашка. — С ума все посходили. — Он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом — чужая. И эта чужая.

— Саша! Саш!..

«Саша! Саш! — съехидничал про себя Пашка. — Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас — вперед машины побежит».

— Я представляю, что там сейчас будет! — кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась со смеху.

«Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», — сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

— Саша! Как ты там?!

— Порядок! На борту порядок!

— Скажи ему — там под баллоном брезент есть — пусть накроется, — сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

— Саша! Саш!.. Там под баллоном какой-то брезент!.. Накройся!

— Хорошо! Спасибо!

— На здоровье, — сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

ИГНАХА ПРИЕХАЛ

В начале августа в погожий день к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пинком распахнул ворота — в руках по чемодану, — остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

— Здорово, родня!

Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком:

— Неужели нельзя потише?.. Что за манера!

— Ничего-о, — загудел Игнатий, — сейчас увидишь, как обрадуются.

Из дому вышел квадратный старик с огромными руками. Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

— Игнашка!.. — сказал он и пошел навстречу Игнатию.

Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды — крест-накрест — поцеловались. Старик опять вытер глаза.

— Как надумал-то?

— Надумал.

— Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь... В спину что-то вступило...

Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

— А это жена, что ли? — спросил наконец старик.

— Жена, — спохватился Игнатий. — Познакомься.

Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее.

— Люся.

— Ничего, — сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю.

— А?! — с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий.

— Пошли в дом, чего мы стоим тут! — Старик первым двинулся к дому.

— Как мне называть его? — тихо спросила Люся мужа.

Игнатий захохотал.

— Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя!

Старик тоже засмеялся.

— Отцом вроде довожусь... — Он молодо взошел

на крыльцо, заорал в сенях: — Мать, кто к нам приехал-то!

В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия — заплакала.

— Игнаша, сынок... приехал...

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу.

— Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське — во!.. А это Ваське... Все тут живы-здоровы?

Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына — он все доставал и доставал из чемоданов.

— Все здоровы. Мать вон только... — Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. — Ничего товар... Васька износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

— Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье. — Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. — Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас.

— Соскучился, так раньше бы приехал.

— Дела, тятя.

— Дела... — Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. — Какие уж там дела-то!..

— Ладно тебе, отец, — сказала мать. — Приехал — и то слава богу.

Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена...

— Ты говоришь: «Какие там дела!» — заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. — Как тебе объяснить? Вот мы, русские, крепкий ведь народишка! Посмотришь на другого — черт его знает!.. — Игнатий встал, прошелся по комнате. — В плечах сажень, грудь как у жеребца породистого, — силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях — это боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее. — С последними словами Игнатий обратился к жене.

Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль — о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что, когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.

— ...Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного.

— Ладно, — согласился отец. Он слушал невнимательно. — Мать, где там у нас?.. В лавку пойду.

— Погоди, — остановил его Игнатий. — Зачем в лавку?

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям: чуть что — сразу в лавку. Зачем, спрашивается? Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол:

— На деньги!

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха!.. Приехал в гости — значит, сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету?

Игнатий засмеялся.

— Ладно, понял. Ты все такой же, отец.

...Сидели за столом, выпивали.

Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было:

Зачем сидишь до полуночи
У растворенного окна,
Ох, зачем сидишь...

Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается! — Он ругнулся.

Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором:

— Тятя!

— А ты, Игнат, другой стал, — продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. — Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи.

— Ты давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

— Не то говоришь, отец, — сказал Игнатий. — При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал, — я старый человек. Ладно, ничего. Васька скоро придет, брат твой... Здоровый он стал! Он тебя враз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки. Куда там!..

Игнатий засмеялся; к нему вернулась его необидная веселая снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой? — предложил отец.

— Нет, — твердо сказал Игнатий.

— А! Вот муж какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. — Наша порода — Байкаловы. Сказал «нет» — значит все. Гроб! Я такой же был. Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная...

— Ты, отец, разговорился что-то, — урезонила жена старика. — Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушайте вы его, брехуна.

— Ты лежи, мать, — беззлобно огрызнулся старик. — Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнатий тоже встал. Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Молчали. Слушали.

Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой. В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

Пришла Марья — рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной сдержанной улыбкой.

— Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! — забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. — Ведь ты же невеста уже!

— Будет тебе, — степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.

Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сощурившись.

— Сейчас Васька придет, — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел его младший сын, он не знал.

Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была!

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно, — миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками.

«Сейчас Васька придет», — ждал старик. Не было у него на душе праздника — и все тут.

Пришел наконец Васька — огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца, смотрел так же — вроде угрюмо, а глаза добрые.

— Игнашка приехал, — встретил его отец.

— Я уж слышал, — сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами. Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

— Погоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь. А то неудобно даже.

— Ну, давай, — согласился отец. — А то верно — он нарядный весь, как этот... как артист.

И тут из горницы вышел Игнатий с женой.

— Брательник! — заревел Игнатий, растопырив руки. — Васька! — И пошел на него.

Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу.

Игнатий обнял его.

— Замараю, слушай. — Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

— Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался.

— Он тебе подарки привез, Васька, — громко сказал отец, направляясь к чемоданам.

— Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот! Видела Байкаловых? — Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. — Знакомьтесь.

Васька покраснел пуще прежнего — не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала.

— Он у нас стеснительный, — пояснил отец.

Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся; он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

— Тятя... скажет тоже.

— Иди умывайся, — сказал отец.

— Да, пойду маленько... того...

Васька пошел в сени. Игнатий двинулся за ним.

— Пойдем, полью тебе по старой памяти!

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь — она протекала под боком, за огородами.

— Искупаемся? — предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве.

— Ну как живете-то? — басил Игнатий, шагая вразвалку между отцом и братом.

Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся: не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату.

— Ничего.

— Хорошо живем! — воскликнул отец. — Не хуже городских.

— Ну и слава богу! — с чувством сказал Игнатий. — Василий, ты, говорят, нагулял тут силенку?

Василий опять засмеялся.

— Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

— Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

— Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

— Хорошая баба, — похвалил Игнатий. — Человек хороший.

— Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнатий оглушительно захохотал.

— Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотстали вы в этом смысле.

— Чего-то ты много хохочешь, Игнат, — заметил старик. — Как дурак какой.

— Рад, поэтому смеюсь.

— Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?

— Ты когда жениться-то будешь, Васька? — спросил Игнатий.

— Он сперва в армию сходит, — сказал отец.

— Ты это... когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию, — посоветовал старший брат. — Я же так начал. Тренер толковый попадется — можешь вылезти.

Васька слушал, неопределенно улыбался.

Пришли к реке.

Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

— Мать честная! Вот это водичка.

— Что? — Васька тоже разделся. — Холодная?

— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца.

Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался.

— Есть, — заключил Игнатий. — Давай попробуем?

— Да ну! — Васька недовольно тряхнул волосами.

— А чего, Васька? Поборись! — Отец с упреком смотрел на младшего.

— Бросьте вы, на самом деле, — упрямо и серьезно сказал Васька. — Чего ради сгребемся тут? На смех людям?

— Тьфу! — рассердился отец. — Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас — всего стесняется.

— А чего тут стесняться-то? Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

— Объясни вот ему!

Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

— Силен! — с восхищением сказал Игнатий.

— Я ж тебе говорю!

Помолчали, глядя на Ваську.

— Он бы тебя уложил.

— Не знаю, — не сразу ответил Игнатий. — Силы у него больше — это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька.

Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали.

Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

— Катунь-матушка, — негромко сказал он.

Васька и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью, ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

— Юбку-то спусти маленько, эй! — крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.

— Вот халда! — с восхищением сказал старик. — Хоть бы хны ей.

Братья стали одеваться.

Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало.

— Чего ты такой? — спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

— Не знаю. Так просто.

— Не допил, поэтому, — пояснил старик. — Ни два, ни полтора получилось.

— Черт его знает! Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни. Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились.

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. Только всплескивали волны, кипела река да удары валька по мокрому белью — гулкие, смачные — разносились над рекой.

Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое. Игнатий присмирел. Перестал хохотать, не басил.

— Что, Вася? — негромко спросил он.

— Ничего. — Васька бросил камешек в воду.

— Все пашешь?

— Пашем.

Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали.

— Жена у тебя хорошая,—сказал Васька.—Красивая.

— Да? — Игнатий оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: — Ничего. Тяте вон не нравится.

— Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? — Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. — Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнатий захохотал.

— А ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал — обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито:

— Зря ты не поборолся с ним.

— Вот привязался! — удивился Васька. — Ты что?

— Заело что-то тятю, — сказал Игнатий, — что-то не нравится ему.

— Что мне не нравится? — повернулся к нему отец.

— Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

— Ну и видь! Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь!

— Будет вам! — сказал Васька. — Чего взялись? Нашли время.

— Да ну его! — Отец засморкался и полез за кисетом. — Приехал, расхвастался тут, подарков навез... подумаешь!

— Тять, да ты что в самом деле?!

Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок — не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца.

— Пошли? Тять...

— У тебя деньги есть? — спросил тот.

— Есть. Пошли...

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам.

— Чего он? — Игнатия не на шутку встревожило настроение отца.

— Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь. — Васька улыбнулся.

— Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

— Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет.

Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого, — раньше он не замечал этого.

ОДНИ

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

— Эт почему же?

— А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

— Плевать мне на твою душу.

— Эх-х...

— Чего «эх»? Чего «эх»?

— Так... Вспомнил твоего папашу кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

— Ты папашу моего не трожь... Понял?

— Ага, понял, — кротко отвечал Антип.

— То-то.

— Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать: когда он говорит серьезно, а когда шутит.

— Вопчем, шей.

— Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорб-

ные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи — бледный и немощный — чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего у них было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа — справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стене, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову, — и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном — лопнули струны — и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стену новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дома. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет — не работает.

Как-то раз, осенним вечером, сидели они — Антип в своем уголке, Марфа — у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло и уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук, тук-тук — постукивает Антип. И еще

тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются.

В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

— Чего пригорюнилась, Марфынька? — спросил Антип. — Все думаешь, как деньжат побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

— Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай — сто рублей не деньги. — Антип любил поговорить, когда работал. — Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... Хоть уж погибали, так героически. А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу — скоро семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне наплевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

— Для детей, — серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

— Для детей? — Антип оживился. — С одной стороны, правильно, конечно, а с другой — нет, неправильно.

— С какой стороны неправильно?

— С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

— А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

— Как это «чего»? Нашел бы чего... А, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота — редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

— Перестань уж!.. — Марфа махнула рукой. — Завел — противно слушать.

— Значит, не понимаешь, — вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула... Вытерла платочком слезы и сказала:

— Разлетелись наши детушки по всему белому свету.

— Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? — заметил Антип.

— Хватит стучать-то! — сказала вдруг Марфа. — Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

— Сдаешь, Марфа, — весело сказал он. — А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

— Сыграй, — разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался.

— Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу...

— Начинаем наш концерт!

— Ты не трепись только, — посоветовала Марфа.

— Сейчас вспомним всю нашу молодость, — хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку. — Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

— Помню, чего же мне не помнить. Я как-нибудь помоложе тебя.

— На сколько? На три недели с гаком?

— Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся.

— Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

— Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

— Штанина, допустим, была моя...

Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне, ма-амынька,
Красный сарафа-ан, —

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту в изъян...

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои,
Походите, погуляйте.
Па-ба-лу́й-тися!

Антип был трогательно смешон в своем веселье.

Он стал подпрыгивать... Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.

— Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же.

Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя, ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

— А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил?

Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька,
Ох, хаханечки-ха-ха,
Чечевика с викою!

— Дурак же ты, Антип! — ласково сказала Марфа. — Плетешь черт-те чего.

Ох, Марфушечка моя, —
Радость всенародная...

Марфа так и покатилась.

— Ну, не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

— Сядь, споем какую-нибудь, — сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался... Улыбаясь, смотрел на Марфу.

— А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

— Не плохой, а придурковатый,— поправила Марфа.

— Значит, не понимаешь, — сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел. — Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их — вот что мучает-то.

— Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель фрау?

— Про Володю-молодца.

— Она тяжелая, ну ее!

— Ничего. Я поплачу хоть маленько.

Ох, не вейти-ися чайки над морем, —

запел Антип, —

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю-молодца-а.
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

— Антип, а Антип!.. Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, — проговорила она сквозь слезы.

— Ерунда, — сказал Антип. — Ты меня тоже прости, если я виноватый.

— Играть тебе не даю...

— Ерунда, — опять сказал Антип. — Мне дай волю — я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.

— Хочешь, читушечку тебе возьмем?

— Можно, — согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

— Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

— Вот еще какое дело, — небрежно начал он, — она уж старенькая стала... надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай — заодно куплю.

— Кого? — Марфина спина перестала двигаться.

— Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

— Она же у тебя играет еще, — сказала она.

— Там треснула досочка одна... дребезжит.

— А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько...

— Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

— На. — Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

— На четвертинку только? — У Антипа отвисла нижняя губа. — Да-а...

— Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

— Эх, Марфа!.. — Антип тяжело вздохнул.

— Что «эх»? Что «эх»?

— Так... проехало. — Антип повернулся и пошел к двери.

— А сколько она стоит-то? — спросила вдруг Марфа сурово.

— Да она стоит-то копейки! — Антип остановился у порога. — Рублей шесть по новым ценам.

— Нá. — Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно — Марфа легко могла раздумать.

КРИТИКИ

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку, — тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.

Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к

концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:

— Ухайдакали мы с тобой пять рубликов.

Петька для приличия делал удивленное лицо.

— Ничего, прокормют, — говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу). — А нам с тобой это для пользы.

Садились всегда в первый ряд: дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

— Ты чего? Как дурак...

— А как он тут сказал? — спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

— Не снижая темпов.

— Хе-хе-хе, — негромко смеялся дед уже над собой. — А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

— Эх вы... люди! — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал:

— От черти!.. Ты гляди, гляди... Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел).

— Нет, вон тот не... это... слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

— Ну-у, — обиженно говорил он, — это они понарошке.

— Так кровь же идет, — возражал Петька.

— Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело.

— Ничего себе не в том!

— Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

— Хреновина, — заявлял он. — Так не бывает.

— Почему не бывает?

— А что, тебе разве этот парень глянется?
— Какой парень?
— С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.
— Он не лазил в окно, — поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку. — Он только к окну лез, чтобы спеть песню.
— Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было...
— А что, он тебе не глянется?
— Кто?
— Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.
— Ни вот на столько. — Дед показывал кончик мизинца. — Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит... У нас Ваня-дурачок такой был — все пел ходил.
— Так он же любит! — начинал нервничать Петька.
— Ну и что, что любит?
— Ну и поет.
— А?
— Ну и поет, говорю!
— Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит... Когда любют, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всёй деревне... Какая же дура пойдет за него! Он же несурьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь — потому что совестно. Любит... Ну и люби на здоровье, но зачем же...
— Чего — зачем?
— Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню...
— Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!
— Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?
— Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.
— Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все, — стоял на своем дед.
— Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.
— Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало.
Со взрослыми дед редко спорил об искусстве — не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.
Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.
Дело было так.

Посмотрели они с Петькой картину — комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.

— И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь — хоть бы хны, даже усмешки нету! — горько возмущался дед. — У тебя была усмешка?

— Нет, — признался Петька. — Один раз только, когда они с машиной перевернулись.

— Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили — два рубля по-старому! А они сами посмеялись, и все.

— Главное, пишут: «Комедия».

— Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать.

Пришли домой злые.

А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. (Дед и Петька «не переваривали» телевизор. «Это я, когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь», — сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.)

Вот, значит, сидят все, смотрят.

Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

— Хреновина. Так не бывает.

Отец Петьки обиделся.

— Помолчи, тять, не мешай.

— Нет, это любопытно, — сказал городской вежливый мужчина. — Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

— А?

— Он недослышит у нас, — пояснил Петькин отец.

— Я спросил: почему так не бывает?! А как бывает?! — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него.

— Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

— Они у нас критики с Петькой, — сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

— Любопытно, — опять заговорил городской. — А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

— Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили?»

— Дедушка, — встряла в разговор Петькина тетя, — а разве в этом дело?

— В чем?

— А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, — это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее...

— Вот такие и пишут на студии, — опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали — Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

— Тебе не важно, а мне важно, — отрезал он. — Тебя им надуть — пара пустяков, а меня не надуют.

— Ха-ха-ха, — засмеялся городской человек. — Получила?

Петькина тетя тоже усмехнулась.

Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда.

— Тебе ведь трудно угодить, тять, — сказал Петькин отец. — Иди лучше к Петьке, помоги ему. — Склонился к городскому человеку и негромко пояснил: — Помогает моему сыну уроки учить, а сам — ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

— Любопытный старик, — согласился городской человек.

Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

— Смеются, — сказал он Петьке.

— Кто?

— Вон... — Дед кивнул в сторону горницы. — Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

— Не обращай внимания, — посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил.

— Ты, говорят, дурак, из ума выжил...

— Что, так и сказали?

— А?

— Так и сказали на тебя — дурак?

— Усмехаются сидят. Они шибко много понимают! — Дед постепенно «заводился», как выражался Петька.

— Не обращай внимания, — опять посоветовал Петька.

— Приехали... Грамотеи! — Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел.

Пришел через час пьяный.

— О-о! — удивился Петька (дед редко пил). — Ты чего это?

— Смотрют? — спросил дед.

— Смотрют. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

— Они понимают, а мы с тобой не понимаем! — громко заговорил он. — Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! — Дед уже кричал. — Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди, помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! — Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

— Не надо, деда, не надо, — успокаивал он деда. — Давай я тебя разую. Ну их!..

— Нет, постой, я ему скажу... — Дед хотел встать, но Петька удержал его.

— Не надо, деда!

— Финтифлюшки городские. — Дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

— Ты мне усмешечки строишь? — Опять глаза его безрассудно заблестели. — А я тебе одно слово могу сказать!.. — Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор.

— Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран — вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

— Усмешечки строить! — закричал дед. — А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем.

— Удосужил ты меня, удосужил, родитель, — зло

говорил он, накрепко стягивая руки деда. — Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

— Удосужил ты меня... — все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал па полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

— Ты мне усмешечки, а я тебе — одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь...

— Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина.

— Не говорите вы с ним, — сказала мать Петьки. — Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

— Вы меня с собой за стол сажать не хочете — ладно! Но ты мне... Это — ладно, пускай! — кричал дед. — Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

— Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил, — приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

— Ого-го! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. — Ты чего это, дядя Тимофей? А?

— Удосужил меня на радостях-то, — сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

— Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево.

«Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча...»

— Он с какого года рождения?

— С девяностого.

«Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. ...Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были».

— Как кинофильм назывался?

— Не знаю. Мы включили, когда там уже шло, — пояснил отец. — Про колхоз.

«...Заглавие фильма не помнят. Знают одно: про колхоз.

Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. «Руки, говорит, у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43—45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции КИБЯКОВ».

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

— Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его.

— Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо, тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся.

— Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас...

Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать.

— Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок.

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку.

— Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро. У нас в Москве знаешь сколько водят в отрезвитель!..

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

И РАЗЫГРАЛИСЬ ЖЕ КОНИ В ПОЛЕ

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?

Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.

Минька учился в Москве на артиста.

Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству.

Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба — красивая. Силу он в себе чуял большую.

«Прочитаю за лето двадцать книг по искусству, — думал он, — измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни — вот тогда поглядим».

В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев.

Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати — большой, загоревший, в бостоновом костюме, — ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые — как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу.

Кондрат Лютаев лет семь уж был председателем большущего колхоза в степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня-а! — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. — Ты у меня спроси: я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все — алкоголики! Даже бабы. И трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись.

Минька удивился, увидев отца.

Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал.

Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.

— Ну, как ты здесь? — спросил Кондрат.

— Нормально.

Некоторое время молчали.

— Тут у вас выпить-то хоть можно? — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента.

Тот понял это по-своему:

— Сейчас займем где-нибудь... Завтра стипуха.

Кондрат даже покраснел.

— Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?

— Вообще-то не положено, — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. — В исключительных случаях только...

— Ну и пошли! — Кондрат поднялся. — Скажете потом, что был исключительный случай.

Пошли в магазин.

Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд: колбасу дорогую, коньяк, шпроты... Рублей на сорок всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело».

А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой — снисходительный — тон.

— Не забывай, когда знаменитым станешь, артист... Забудешь небось?

— Что за глупости! Кого забуду?..

— Брось... Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать... А?

— Конечно.

Выпили вчетвером — пришел еще один товарищ Миньки.

Кондрат раскраснелся, снял свой бостоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину — под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.

— Туго приходится? — расспрашивал он ребят.

— Ничего...

— Вижу, как ничего... Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы прошелся, а тут — книжки читать надо. А?

Ребята смеялись; им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики. И что не пустое это дело, как он думал.

— А я считаю — правильно! — басил Кондрат. — Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано — сопли еще по колена... Я на Миньку в прошлом году обиделся... Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб — со столбами. Чем в Москве-то ошиваться...

— Тять...

— Не то говорю? Ну ладно, ладно... Вы ж ученые, я забыл. А хозяйство у меня!.. Вон Минька знает...

Потом Кондрат и Минька пошли на выставку — ВДНХ.

Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо.

— Вот ты, например, человек, — заговорил он, слегка пошатываясь. — И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты — это же не я, верно? Понимаешь?

— Понимаю. — Кондрат шел ровно, не шатался. — Тут дурак поймет.

— Значит, я должен тебя изучить: характер твой, повадки, походку... Все выходки твои, как у нас говорят.

— А то ты не знаешь?

— Я к примеру говорю.

— Ну-ка, попробуй мою походку, — заинтересовался Кондрат.

— Господи! — воскликнул Минька. — Это ж пустяк! — Он вышел вперед и пошел, как отец, — засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под ногой землю.

Кондрат оглушительно захохотал.

— Похоже! — заорал он.

Прохожие оглянулись на них.

— Похоже ведь! — обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. — Меня показывает — как я хожу.

Миньке стало неудобно.

— Молодец, — серьезно похвалил Кондрат. — Учись — дело будет.

— Да это что!.. Это не главное. — Минька был счастлив. — Главное: донести твой характер, душу... А это, что я сейчас делал, — это обезьянничанье. За это нас долбают.

— Пошто долбают?

— Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?

— Ну.

— И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я и ты. Понял? Тогда я — художник...

— Счас пойдем глянем одного жеребца, — заговорил вдруг Кондрат серьезно. — Жеребец на выставке стоит образцовый!.. — Он зло сплюнул, покачал головой. — Буяна помнишь?

— Помню.

— Приезжала нынче комиссия смотреть — я его хотел на выставку. Забраковали, паразиты. А сёдня прихожу на ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец... Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Это ж кролик против моего Буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил, такого образцового.

Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А заря на западе — в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее — кругами, кругами — черные стремительные тени, и не слышно топота коней—тихо.

— Буяна помню, как же, — негромко сказал Минька. — Хороший конь.

Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо — зло.

— Я его последнее время сам выхаживал, — заговорил он. — Фикус ему в конюшню поставил — у него там как у невесты в горнице стало. Как дитё родное, из-

учил его. Заржет черт-те где, а я уж слышу. Забраковали!.. — Кондрат замолчал. Ему было горько.

Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста... Охота стало домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра... Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина: несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит Буян. Но удивительно тихо в степи.

— Да, — сказал он.

— Со всего края приезжали смотреть...

— Да ладно, чего уж теперь.

Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне, за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом.

Остановились около него.

— Этот?

— Но. — Кондрат смотрел на жеребца, как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил. — Он самый.

— Орловский.

— По блату выставили.

— Красивый.

— «Красивый», — передразнил сына Кондрат. — Ты уж... лучше походки изучай, раз не понимаешь.

— Чего ты? — обиделся Минька.

— Ты сядь на него да пробежи верст пятьдесят — тогда посмотри, что от этой красоты останется.

— Но нельзя же сказать, что он некрасивый!

— Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так... Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь! — Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. — Трр, той! — прикрикнул Кондрат. — Гляди сюда — это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой версте захрипит...

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне.

— Гражданин, вы зачем зашли туда?

— На коняку вашего любуюсь.

— Смотреть отсюда можно. Выйдите.

— А если я хочу ближе?

— Я же вам русским языком сказал: выйдите. Нельзя туда.

Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.

— Понял? Издаля только можно. Потому что знающие люди враз раскусят. Чистая работа!

Служитель не понимал, о чем идет речь.

Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно:

— Вопрос можно задать?

— Пожалуйста. — Служитель важно склонил голову набок.

— Этот конь — он кто: жеребец или кобыла?

Служитель взялся за живот... Он хохотал от души, как, наверно, не хохотал давно.

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.

— Так ты, значит... Ха-ха-ха!.. Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха!..

— Смотри не надсадись, — сказал Кондрат.

Служитель вытер глаза.

— Жеребец, жеребец это, дорогой товарищ.

— Но?

— Что «но»?

— Неужели жеребец?

— Конечно, жеребец.

— Значит, я Василиса Прекрасная.

— При чем тут Василиса?

— При том, что это не жеребец. Это — ишак.

Служитель рассердился:

— Заложил, наверно, вчера крепко? Иди похмелись.

— Иди сам похмелись! А не то — съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.

Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным.

— Выйдите отсюда! Давайте, давайте... А то сейчас милицию позову. — Он тронул Кондрата за руку.

Кондрат зашагал от конюшни. Минька — за ним.

— Видел жеребца? — Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. — Приеду, пойду к той комиссии... Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии... Черти.

Минька тоже закурил.

— Куда сейчас?
— На вокзал. В девять пятнадцать поезд.
У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.
— Как вы там? — спросил он.
— Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью — вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел — никого нету. Тоскует, вот и кажется.
Минька нахмурился.
— Чего она?..
— Так ить наше дело теперь не молодое... «Чего»!
— А в деревне как?
— Что в деревне?
— Ничего не изменилось?
— Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за солонцом помнишь? Гречиху вечно сеяли...
— Но.
— Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря.
Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: «А что, по вечерам гуляют с гармошками?» Несерьезно. Да и спрашивать нечего — гуляют. Как все это далеко! Туда поедет отец. Там — мать, ребята-дружки...
— Через трое суток дома будешь.
— Ты-то не приедешь летом?
— Не знаю. Кружок тут один веду... Не знаю, может, приеду.
— На будущий год он здесь будет, — твердо сказал Кондрат. — Я своего добьюсь.
— Кто?
— Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге везти. Не на того нарвались, я их сам забракую.
— А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?..
— Тоскуешь здесь?
— Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в Парк культуры Горького — там весело.
— Москва, — раздумчиво сказал Кондрат. — На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то?
— Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро — одна пересадка, и все.
Кондрат посмотрел на сына.
— Ты уж освоился тут.
— Не совсем, но...
— Москва, — еще раз сказал Кондрат. — Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была.

На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало.

Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон. Отец долго устраивал чемодан на верхнюю полку, потом присел к столику, напротив сына. И опять молчали, глядели в окно.

По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно.

«И все они сейчас поедут», — думал Минька.

В купе пахло чем-то свежим — не то краской, не то кожей.

Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим.

Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец.

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно.

«Что он так? Как в последний раз», — подумал Минька.

Поезд все не трогался.

Наконец тронулся.

Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же — внимательно и строго.

Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу... И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу.

Минька пошел домой.

Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки — чтоб устать и прийти, и сразу уснуть.

В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка.

Минька разобрал постель... Долго сидел не раздеваясь. Потом разделся и лег.

Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец... Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни...

Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять, в который раз, увидел: степь и табун лошадей несется по степи...

С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет — громко и глупо.

СТЕПКА

И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должо́н каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

И в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: пи-у.

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры — завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь — судь-

ба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего — сойдет.

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Ты чо, не узнал?

— Хот!.. Язви тя... Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись.

— Пришел?

— Пришел.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили пораньше.

— Хот... Язви тя!.. — Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать. — А Борзя-то живой ишо, — сказал.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. — А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан.

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— Ничо, хорошо. Работали.

— В шахтах небось?

— Нет, зачем — лес валили.

— Ну да. — Ермолай кивнул головой. — Дурь-то вся вышла?

— Та-а... — Степан поморщился.—Не в этом дело, тять.

— Ты вот, Степка... — Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. — Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без этого...

— Не в этом дело, — опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немтая-то наша, — заговорил отец, поднимаясь, — чуток замуж не вышла. — Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но? — удивился Степан.

— И смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?

— Чо зря? Зря... Обмануть надумал какой-то — и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

— М-эмм, мм, — мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— Вот те и «мэ», — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось, — пояснил он Степану. — Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе, — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру.

— Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну, хватит, хватит... Ну, все...

— Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну как живешь-то? — спросил.

Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

— Господи-батюшка, отец небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.

— Ты, мать, и радуисся и горюешь — все одинаково, — строго заметил Ермолай. — Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

— Ну и не реви.

— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан улыбнулся ей.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя, как от печки, пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла?

— А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

— А тебе что, пять надо?

— Я, может, тебя ждала? — Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

— Да нет, — стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь — иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают, — встрял в разговор отец. — Мозги дуракам вправляют.

— Людей интересных много, — продолжал Степан. — Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не соврешь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметют, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
И этой шуткой сгубила д я себя-а! —

пел Степан.

Песня не понравилась — не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме — сплошное жулье. — Тихо вы!

— Чо же, сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там несладко.

— И вить дети небось пооставались.

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. — Я бы им подолы на голову — и ремнем!

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

...Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...

Увлеклись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть;
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она была счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! — Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу-насилу вот так голову-то

приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, — думаю, — мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается — и он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза.—Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя сёдня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал — слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести—долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь.

— Давай, тять...

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает.

— Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали...

— Там дадут — догонют да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверно, явиться Степану в сельсовет — офор-

мить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся:

— Отстань, ну тя! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

— Ты что, сдурел, парень? — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротнему столбу, усмехнулся.

— Чудно? Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь еще пару лет накинут.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Н-да... — раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Две недели.

— Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

— Оружия нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись — те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По много...

— Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак. — И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм? — спросила брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм?! — замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!»

Участковый понял.

— Он... он, — показал на Степана, — сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — Участковый показал на окно и показал, как сбегают. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно — раз, и ушел. И теперь ему будет... — Милиционер сложил пальцы в решетку

и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! — Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

— Убери ее, — хрипло попросил Стѐпан. — Убери!

— Как я ее уберу?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом. — Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами, — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей. — Счас он придет!.. — Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. — Ну, здорова! — Он закрыл дверь на крючок. — Фу-у... Вот каких ты делов натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедем в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

— Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

— Не надо было напиваться.

— Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить — все малость полегче.

— А чо же мне делать, если не напиться? Должон я хоть раз в месяц отметиться...

— Зачем?

— Што я, не человек, што ли?

— Хм... Рассуждения, как при крепостном праве. — Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. — Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили.

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— Они учились. В книгах написано...

— В книгах... А они, случайно, не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Отравление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

— Доучились.

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу... — Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

— О-о... опять накатило! Все, мать-перемать...

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только

нет — сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, бочонки — целый склад. В кладовке — полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не жить!» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе отдельно, Юрка — себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам... Апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть, а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

— На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться... «Что тянет». А хирургом можно потом

и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

— Што, они много шибко получают, што ль?

— Кто? Хирурги?

— Но.

— Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...

— Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по сколько зашибают! Да ишо где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного — деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накипает раздражение против старика.

— Проживем, — резко говорит он. — Никому до этого не касается.

— Знамо дело, — соглашается старик. — Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету, как... — Он не подберет подходящего слова — как кто. — Жили раньше без всякого ученья — ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то... ирапланов понаделали — дерьма-то!

— А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать?

— А чем плохо на телеге? А еслив поехал, так знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернессся с этого свово ираплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться — он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое — за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать, кликуши, — говорит он про верующих. — Ро́бить надо, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, — сказал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

— Ставай, проклятый заклеменный!.. — И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: — Ты ба, наверно, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не проклятый, а — проклятьем, — поправил он.

— Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге:

— Чо у вас говорят про его?

— Про кого?

— Про бога.

— Да ничего не говорят — нету его.

— А почему тогда столько людей молются?

— А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь...

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в бога.

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

— Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

— Отлегло малость, в креста мать, — говорит старик. — Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать — надо выучить уроки.

— Про кого счас проходишь?

— Астрономию, — коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

— Это про кого?

— Космос. Куда наши космонавты летают.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин... Много уж.

— А чего они туда лётают? Зачем?

— Привет! — воскликнул Юрка и опять откинулся

на спинку стула. — Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

— Чо ты привязался с этой печкой? — обиделся старик. — Доживи до моих годов, тогда вякай.

— Я не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу...

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учут? — чтоб ты на стариков злился?

— Ну, во-первых: освоение космоса — это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

— Они такие же, как мы?

— Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик заинтересован рассказом. — Непрошеный гость, говорят, хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, — может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет — рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить — лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет — и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?

— Восьмой, однако.

— Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста, ста двадцати лет жить.

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— «Средство»... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство — и то ладно. А то башка как этот... как бачок из-под самогона.

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

— У вас только одно на языке: будет! будет!.. — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чо ты ему сделаешь?

— Вырежу чего-нибудь.

— Дак если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь?

— Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

— Нечего?.. А вот эти люди!.. — сгреб кучу книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно.

— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Холера?

— Ну, холера.

— Была. У нас в двадцать...

— Где она сейчас? Есть?

— Не приведи господи! Может, будет ишо...

— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер. А сейчас — сорок уколов, и все, человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Допустим. Собака — это ладно. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

— Укус был не смертельный. Вот и все.

— Иди подставь: пусть она тебя разок чикнет куда-нибудь...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги. — Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

— Как это?

— Так. «Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— Они пишут?

— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали. — У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?..

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было раньше?! — Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. — Где она? Ее же нет здесь!

— Кого?

— Этой... кто поет-то.

— Дак это по проводам...

— Это — радиоволны! «По проводам». По проводам — это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, ви-

дал: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А ты меня отрываешь. — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

— Он есть на карточке? — спросил старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

— Старенький уж был.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые. — Юрка отнял книгу. — И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

— С похмелья, я без Павлова знаю.

— С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого. — Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. — Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте? Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

— Я хуже маяться буду.

— Раз помаешься, два, три — потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

— Ох, мать твою... Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?» — подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти

посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

— Хлеб-то есть? — спросил он строго.

— Есть. А что?

— На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

— Мне же нечем отдавать будет — у нас нету...

— Ешь. Там чайник в печке — ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

— Как сало-то?

— Вери вел! Первый сорт.

— Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью — получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот — маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любют. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

— Ох, здорово! Спасибо.

— Наелся?

— Ага. — Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. — А это куда?

— Вынеси в сенцы, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

— Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь — маленько кружится.

— Ну вот, — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. — Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Может, я пойду куплю четвертинку? — предложил Юрка.

Дед помолчал.

— Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыпешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

— Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом. — Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы — вечером можно на лыжах покататься.

— А у его чо же, родных-то никого, что ли, не было? — спросил вдруг старик.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого еслив бы не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

— Конечно, — согласился он. — Одному плохо.

НЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рожденья: тонкая, искривленная... висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех — и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки — и как играл! — отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится — бац! — полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких... Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием... Хотел неза-

метно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

— Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

— Так, — сказал он. И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы — выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми: Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки... Весь день только ее и слышно по всей окраинке.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот... была бы не такая красивая... жениться бы на ней, и все». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо.

— Глашка! — кричал он девушке. — Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!

— Не берет никто, Коля! — отвечала словоохотливая Глашка. — Я уж давно собралась!

«Ишь ты... какая», — думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.

А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воду рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами... И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце — он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он про-

клял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его — не один раз охотились и рыбачили вместе.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю...

— Капсюлей нету лишних? У меня все кончились.

— Капсюлей? Надо посмотреть. — Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей. — На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил... Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

— Спасибо за капсюли.

— На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас... — вздохнул фельдшер и почесал лысину. — Но... но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

— На капсюли-то, — сказал он фельдшеру. — У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком»:

— Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

— Посмотри ногу... хочу протез попробовать. Надоело так.

— А-а. — Фельдшер глянул Кольке в глаза... и сам смутился. — Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу.

— Здесь чувствуешь?

— Чувствую.

— А здесь?

— Ну-ка еще... Чувствую.

— Пошевели. Еще. А теперь — вбок. Подвигай, подвигай. Так. — Фельдшер выпрямился. — Вообще-то... я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

— Понимаю.

— Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу —

в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

— Поеду ногу отрублю.

— То есть как? — Андрей вытаращил глаза.

— Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась культышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить культышкой под одеялом — тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки... Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск. Домой явился через полмесяца... С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кольку «без ноги». Колька засмеялся...

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез.

— Вот... нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

— Блестит весь... Господи! — сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

— Добрая штука, — заключил он. — Не то что у деда Кузьмы — деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили — и Колька верил, — что на таком-то протезе, дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

— Когда попробуешь? — спросил отец, взвешивая протез на руке.

— Подживет нога хорошенько — попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы.

Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать.

Стихло во всей деревне.

Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал

надевать протез. Надел. Закурил... Курил и смотрел на протез.

— Ничего себе... ноженька. Хэх! — Улыбнулся.

Старательно погасил окурок. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать... подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

— Ничего. Придется, конечно, поработать, — сказал сам себе.

Еще одна попытка — нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

— Ну ничего... Паразитка. С непривычки... — Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

— Перекурим это дело. — Он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова — нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке, над кроватью... Он поднялся... И снова стал пробовать двигать левой ногой.

— Пойдешь, милая. Ну-ка.. Оп-п! Паразитка! — тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез.

— А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

— Гадина, — сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза... — Ах ты гадство, — тихо повторил он. И снял со стенки ружье...

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

— Сейчас лучше бы не надо, — пояснил приезжему доктор. — Сейчас он...

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный... Бледный, незнакомый какой-то — как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

— Попросил бы меня — я бы попал куда надо... Чтоб сразу уж... — Голос отца подсекся... Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью.

Колька скосил на него глаза... Пошевелил губами...

— Болит? — спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

— Эх... — Отец поднялся и пошел из палаты.

— Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен...

Отец обезумел от горя: взял доктора за грудки:

— А ты для чего здесь? Организм!..

— Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял... и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня...

Мать Кольки лежала в постели — захворала с горя.

— Как он там? — слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу.

— Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю. — Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

— Господи, господи...

— Господи, господи!.. Только и знаешь своего господа! Одного ребенка не могла родить как следует... с двумя ногами! Я этому твоему господу шею сейчас сверну. — Андрей снял с божницы икону Николая-угодника и трахнул ее об пол. — Вот ему!.. Гад такой!

— Андрюша!.. Господи... Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная... Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

— Какую Глашку?

— Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

— Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

— Он поправится. — Андрей шаркнул ладонью по щеке. — Если бы ему сказать... кхе... он бы поправился. И за такого, мол, пойду... Врач говорит: сам захочет если... Соври ему. А?

Глашка заплакала.

— Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж...

Андрей поднялся:

— Ты только не реви... Моду взяли: чуть чего, так реветь сразу. Не можешь, — значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. — Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

— Был сейчас дома... — Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена... поправил голенище сапога. — К Глашке зашел по пути...

Колька повел на отца удивленные глаза.

— Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него...

Колька слабо зарумянился в скулах... закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

— Сынок, — позвал он.

— Не надо, — одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. — Не ври, тятя... а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты сгорбившись.

Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу.

— Скажу я ему, дядя Андрей... пусть! Скажу, что согласная, — пусть поправляется.

— Не надо, — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. — Он так поправится. Врать будем — хуже.

Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах — сосед по палате попросил посмотреть.

В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, догоряча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

— Не зря он так орет, — сказал кто-то. — Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

— А этот куда смотрел, который орет сейчас?

— Этот?.. Он в командировке был — в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку.

Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

— Нечаянно. — И склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу... Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

— Как там, дома? — спрашивал Колька.

— Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то... — Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну.

— Это маятник называется.

— До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

— Делают. На заводе все делают.

— Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое.

Колька улыбался:

— То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался... гладил ладонью колено и говорил:

— Да... там — конечно... Там умеют. Там все умеют.

ОХОТА ЖИТЬ

Поляна на взгорке, на поляне — избушка. Избушка — так себе, амбар рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни — собьют

камелек, трубу на крышу выведут, и нары сколотят — живи не хочу!

Зайдешь в такую избушку зимой — жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек. Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство, радость. «А-а!.. — хочется сказать. — Вот так-то». Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего — скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги — к камельку. И дремота охватит — сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и — думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Давно было, интересно... И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает — хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку.

В избушке было жарко. А на улице — морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге — промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом — знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

...Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи — к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

— Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания — не умеет человек сам с собой разговаривать.

«Не охотник», — понял Никитич, охотник не станет спрашивать — зайдет, и все.

— Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца... Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

— Кто тут?

— Человек. — Никитич поджег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Один, что ли? — спросил пришелец.

— Один. Проходи, чего в дверях расшиперился!

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

— Мороз, черт его...

— Мороз. — Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой. — Март — он ишо свое возьмет.

— Какой март? Апрель ведь.

— Это по-новому. А по-старому — март. У нас говорят: марток — надевай двое порток. Легко одетый. — Что ружья нет, старик промолчал.

— Ничего, — сказал парень. — Один здесь?

— Один. Ты уж спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

— Садись. Чайку щас поставим.

— Отогреюсь малость... — Выговор у парня не здешний, «расейский». Старика разбирало любопытство, но вековой обычай — не лезть сразу с расспросами — был сильнее любопытства.

Парень отогрел руки, закурил папироску.

— Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот — сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах... Исхудал... Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый... И какой-то «стылый» — так определил Никитич.

— Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся.

— Так не говорят, отец. Говорят — присаживайся.

— Ну — присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

— Присесть можно. Никто не придет еще?

— Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит. — Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки — не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу — не «охальная», простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые... Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик — учитель. Никитич очень любил учителей.

— Йолог какой-нибудь? — спросил он.

— Кто? — не понял парень.

— Ну... эти, по тайге-то ищут...

— А-а... Да.

— Как же без ружьишка-то? Рыск.

— Отстал от своих, — неохотно сказал парень. — Деревня твоя далеко?

— Верст полтораста.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул.

— Устал.

— Долго один-то идешь?

— Долго. У тебя выпить нету?

— Найдется.

Парень оживился.

— Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть, к черту, можно. Апрель называется...

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

— Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лонись * нашел одного — вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся — и все, и окочурился. — Никитич нарезал сало на краешке нар. — А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

— В избушку-то все равно лезешь.

— Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходей себе.

* В прошлом году.

Парень распоясался, снял фуфайку... Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел — рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию, в душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами, оставь их одних, пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии — две-три девки. Терпят, не жалуются. И всё вроде они такие же и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего — не безобразничают. Доведись до деревенских — греха не оберешься. А эти — ничего. А ведь бывают — одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая — кукла и кукла. А ребята — ничего, как так и надо.

— Кого ищете-то?

— Где?

— Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе.

— Долю.

— Доля... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде — вот она, в руках, а не тут-то было. — Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими — позаковыристей, когда внимательно слушают, когда слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь — только развесь уши. Свои бы, деревенские, бо́талом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. И леси́ны-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, а засохнет, сам засохнешь — тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая. — Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! — кого попало: самку — самку, самца — самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Поганое дело — душу на

зверье тешить. Вот те и доля — ты говоришь, — продолжал Никитич.

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся:

— Все равно весна скоро.

— Придет, никуда не денется. Садись. Закусим, чем бог послал.

Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь.

— Кого ты щас там увидишь? — удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

— Воля, — сказал парень. И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал — крепко, зло и напористо. Откачнулся от окна.

— Дай еще выпить, отец. — Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, громко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил. — Душа просит.

— Поел бы, а то с голодухи-то развезет.

— Не развезет. Меня не развезет. — И ласково и крепко приобнял старика за шею. И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик...

И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.

— Выпьем, добрый человек!

— Наскучал один-то. — Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть. — Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге — поганое дело.

— Не пропадем, отец. Еще поживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять «остыли». И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это «что-то» не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал — не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

— Охота жить, отец.

— Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А уж мне скоро...

— Охота жить! — упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика. — Ты ее не знаешь, жизнь. Она... — Подумал, стиснул зубы: — Она — дорогуша. Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул:

— Ты про жись, как все одно про бабу.

— Бабы — дешевки. — Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

— Бабы, они... конечно. Но без них тоже...

— Возьмем мы ее, дорогушу, — парень выкинул вперед руки, сжал кулаки, — возьмем, милую, за горлышко... Помнишь Колю? Забыла? — Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его «забыли». — Колюто!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл. — Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить. — А я — вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу. Но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

— Правда, што ли, баба так раскипятила? — спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой.

— Эту бабу зовут — воля. Ты тоже не знаешь ее, отец. Ты — зверь, тебе здесь хорошо. Ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

— Не навечно же ты здесь...

— Не понимаешь. — Парень говорил серьезно, строго. — Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь — моя.

Старик качнул головой.

— Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

— Из тюрьмы бегу, отец, — сказал без всякого выражения. — Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика... Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня.

— Что?

— Как же это?

— Пей, — велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. — Дай твоего.

— У меня листовуха.

— Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню. Долго молчали.

— Поймают вить, — сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают — и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? — Зря, — сказал он трезво.

— Чего?

— Бежишь-то. Теперь не ранешное время — поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

— Надо бы досидеть... Зря.

— Перестань! — резко оборвал парень. Он тоже както странно отрезвел. — У меня своя башка на плечах.

— Знамо дело, — согласился Никитич. — Далеко идти-то?

— Помолчи пока.

«Мать с отцом есть, наверно, — подумал Никитич, глядя в затылок парню. — Придет — обрадует, сукин сын».

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь.

— Деревня твоя — райцентр или нет? — спросил он, не оборачиваясь.

— Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело — по тайге...

— Дня три поживу у тебя — наберусь силенок, — не попросил, просто сказал.

— Живи, мне што. Много, видно, оставалось — не утерпел?

— Много.

— А за што давали?

— Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал, кашляя:

— Мне што!.. Жалко только. Поймают...

— Бог не выдаст — свинья не съест. Дешево меня не возьмешь. Давай спать.

— Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, — трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

— Старенькое.

— Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

— Маленький Ташкент, — к чему-то сказал он. — Не боишься меня, отец?

— Тебя-то? — изумился старик. — А чего тебя бояться?

— Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

— За убивство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

— Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

— Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

— Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не... Меня тошнит от них. — Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. — Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

— За што?

— За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он — добренький, терпеть учил. Паскуда! — Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. — Кто добрый?! Я? Ты?

— Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал...

— А зверей бьешь! Разве он учил?

— Сравнил хрен с пальцем. То — человек, а то — зверь.

— Живое существо — сами же трепетесь, сволочи.

Лица парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах — бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

— Ты чего рассерчал-то на меня?

— Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает — за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, погань!

— Не поганься! — строго сказал Никитич. — Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся — посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

— М-м. — Парень скрипнул зубами. Промолчал.

— Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь — тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь — сломишь голову. Знаешь, говорят: молодец — против овец, а спроть молодца — сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот — ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

— Не сердись, отец, — примирительно сказал парень. — Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! — почти крикнул. — Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем выдумывать?! — Парень привстал на локоть; смутно — пятном — белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

— Поостынешь маленько, поймешь: не было бы добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так щитаю. А святых — это верно: нету. Я сам вроде ничо? — никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был... Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихная годов двадцати. Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда — старые. Они потом ушли куда-то. Ну, дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-то заманил раз в березник и... это... ла-ла с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был...

— А говоришь, худого ничего не делал?

— Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно... дитя-то пустил по свету. Спомнишь — жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

— Жизнь дал человеку — не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

— Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конешно.

— Там еще осталось?

— Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше. Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

— Много пьешь-то?

— Нет, это... просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка... Хорошие сигареты, шампанское... Женщины. Чтоб тихо, культурно. — Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. — Бардаки презираю. Это не люди — скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой — так? — если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб — я устаю. Я потом отдыхаю. Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь — риск? А я говорю — да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как овечий хвост, — я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

— Ты кем работал до этого? — поинтересовался Никитич.

— Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему: «Что такое колорадский жук и как с ним бороться». — Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: — Все, отец... Я ушел.

— Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь — все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная... А что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича — трое — тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит их в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и лет пять не показываться, если уж сидеть невмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет. Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я — старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю... Согласен. Там весело и огней

много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота — там? На здоровье. А мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотрись хорошенько! Ты же увидеть-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. Да ты возьми приглядись для интереса! А потом подумай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне — сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят — городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару чиркаешь — форсите. ДоФорсился вот: отвалили лет пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок — и загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. «Шампанское...» А откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье... Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков, и ничего сделать нельзя. Не докажешь.

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

«Намаялся, — подумал Никитич. — Дурило... А кто заставляет? Эх, вы!»

...За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса трех мужчин.

Парень рывком привстал — как не спал. Никитич тоже приподнял голову.

— Кто это? — быстро спросил парень.

— Шут их знает.

Парень рванулся с нар — к двери, послушал, зашарил рукой по стене — искал ружье. Никитич догадался.

— Ну-ка, не дури! — прикрикнул негромко. — Хуже беды наделаешь.

— Кто это? — опять спросил парень.

— Не знаю, тебе говорят.

— Не пускай, закройся.

— Дурак. Кто в избушке закрывается. Нечем закрываться-то. Ложись и не шевелися.

— Ну дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо, искал рукой скобку. Парень ужом скользнул на нары, успел шепнуть:

— Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь... Умоляю, старик. Век...

— Лежи, — велел Никитич.

Дверь распахнулась.

— Ага! — весело сказал густой бас. — Я же говорил: кто-то есть. Тепло! Входите!

— Закрывай дверь-то! — сердито сказал Никитич, слезая с нар. — Обрадовался — тепло! Раскорячься пошире — совсем жарко будет.

— Все в порядке, —сказал бас. — И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

— Емельянов? — спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. — Так?

— Так, товарищ Протокин.

— Ну, вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

— Пострелять? — не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

— Надо размяться маленько. А это кто? — Начальник увидел парня на нарах.

— Иолог, — нехотя пояснил Никитич. — От партии отстал.

— Заблудился, что ли?

— Но.

— У нас что-то неизвестно. Куда шли, он говорил?

— Кого он наговорит! — едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его — щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня. У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

— Накачал ты его. — Спичка начальника погасла. — Что же у нас-то ничего не известно?

— Может, не успели еще сообщить? — сказал один из пришедших.

— Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

— Нет, — ответствовал Никитич. — Отстал, говорит. И все.

— Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

— Спать, — согласились двое. — Уместимся?

— Уместимся, — уверенно сказал начальник. — Мы прошлый раз тоже впятером были. Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял — под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем.

Пришлые поговорили еще немного о своих районных делах и замолчали.

Скоро все спали.

...Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконце. Парня рядом не было. Никитич осторожно слез с нар, нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой... Ни парня, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем.

«Ушел. И ружье взял».

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь застила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу.

— Сукин ты сын, варнак окаянный, — вслух негромко ругался он. — Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать? Што я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю — папасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти. А я сиди тут, сложа ручки, без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало. День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

— Боишься людей-то? Эх, вы... «Красивая жись». А последнее ружьишко у старика взять — это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

— Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: сбочь лыжни ямка — палки втыкал. На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

— И кисет прихватил! — Никитич зло плюнул. — Вот поганец так поганец! — Прибавил шагу.

Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу.

Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной — ружье.

— Ходить умеет, — не мог не отметить Никитич. Свернул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу... И тут его встретит Никитич.

— Щас я на тебя посмотрю, — не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки. Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. «Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись».

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было — обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно, опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. «На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтобы от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники —горе луковое».

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

— Стой! Руки вверх! — громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня. Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича. — Говоришь: не боюсь никого, — сказал Никитич, — а в штаны сразу наклал.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

— Ну, отец... ты даешь. Как в кино... твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

— Теперь, значит, так, — деловым тоном распорядил-

ся Никитич, — ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их шешнадцать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю. Сурьезно говорю.

— Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

— Бесстыдник, ворюга.

— Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

— А мне што тут без его делать?

— Ты дома.

— Ну, давай, давай. Дома. Што у меня дома-то — завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны — четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, прищурившись, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

— Чего мешкаешь?

— Не могу вытащить...

— Ногтями зацепи... Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

— Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклал в карманы полушубка.

— Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

— Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер...

— Курить-то охота мне.

— Ты вот все — мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

— Можно я себе малость отсыплю?

— Отсыпь. Спички-то есть?

— Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже.

Сидели шагах в десяти друг от друга.

— Ушли эти?.. Ночные-то.

— Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в районе у себя не шибко разгуляешься — на виду. Вот они и идут с глаз долой.

— А кто они?

— Начальство... Заряды зря переводют.

— М-да...

— Ты што же думал: не догоню я тебя?

— Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл... Протокин-то.

— В собесе работает. Пенсию старухе хлопотая, видел его там...

Парень пытливо посмотрел на старика.

— Это там, где путевки на курорт выписывают?

— Ага.

— Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья...

— На кой ты мне хрен нужен — сажать? — искренне сказал Никитич.

— Продай ружье? У меня деньги есть.

— Нет, — твердо сказал Никитич. — Спросил бы с вечера по добру, может, продал бы. А раз ты так по-свински сделал — не продам.

— Не мог же я ждать, когда они проснутся.

— На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людями разговаривать. Продай, мол, ружье — я уйду. А ты... украл. За воровство у нас руки отрубают.

Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:

— Спасибо, что не выдал вчера.

— Не дойдешь ты до своей воли все одно.

Парень вскинул голову.

— Почему?

— Через всю Сибирь идти — шутка в деле!

— Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья... здесь худо. Продай, а?

— Нет, даже не упрашивай.

— Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты меня, отец.

— А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?

— Документы тоже люди делают.

— Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?

— Ты обо мне... прямо как родная мать заботишься. Заладил как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.

— А шампанскую-то на какие шиши будешь распивать? Если честно-то робить пойдешь...

— Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.

— Эх, вы... — Старик сплюнул желтую едкую слюну на снег. — Жить бы да жить вам, молодым... а вас... как этих... как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный в зад не клевал...

— Как сказать, отец...

— Кто же тебе виноватый?

— Хватит об этом, — попросил парень. — Слушай... — Он встревоженно посмотрел на старика. — Они ж сейчас проснутся, а ружья нет. И нас с тобой нет... Искать кинутся?

— Они до солнышка не проснутся.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь: разморит — до обеда проспят. Им торопиться некуда.

— М-да... — грустно сказал парень. — Дела-делишки.

Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями — теплый, тяжелый.

— На руку тебе. — Никитич посмотрел вверх.

— Что? — Парень тоже посмотрел вверх.

— Снег-то... Заметет все следы.

Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.

— Весна скоро... — вздохнул он.

Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека. Представил, как идет он один, ночью... без ружья.

— Как ночуешь-то?

— У огня покемарю... Какой сон.

— Хоть бы уж летом бегали-то. Все легше.

— Там заявок не принимают — когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль. — Парень поднялся. — Иди, а то проснутся эти твои...

Старик медлил.

— Знаешь... есть один выход из положения, — медленно заговорил он. — Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу...

— Ну?

— Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь

крайнюю избу: мол, ружье нашел... или... нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там, от нашей деревни прямая дорога на станцию — двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездют. К свету будешь на станции. Только там заимка одна попадется, от нее, от заимки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей — это в район. Прямо иди.

— Отец...

— Погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел — перепужаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо. — Никитич показал на новую переломку.

Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы благодарности в глазах было больше.

— Спасибо, отец.

— Чего спасибо! Как я ружье-то получу?

Парень встал, подошел к старику, присел рядом.

— Сейчас придумаем... Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.

— Где спрячешь?

— В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни.

Никитич задумался.

— Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот што: постучишь в крайнюю избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой. Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет — выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку — а то от Ефима потом не отвяжешься — и с богом. Патронов даю тебе... шесть штук. И два картечных — на всякий случай. Не истратишь, возле деревни закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай, он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

— Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

— Ладно... На деревню держись так: солнышко выйдет — ты его все одно увидишь — пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там — прямо. Ну, закурим на дорожку...

Закурили.

Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

— До свиданья, отец, спасибо.

— Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

— Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот — начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчерась... А то бы не отвертеться тебе от него — дошлый черт. И счас, должно, прилипнет. Скажет: «Куда ушел?» То, се...

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

— А вчерась никакие бы документы не помогли.

Парень молчал.

— Ну шагай. — Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уж почти прошел ее всю, просеку... И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толканули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как с него сняли ружье и закидали снегом. И как сказали: «Так лучше, отец. Надежней».

...Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась. Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

КАПРОНОВАЯ ЕЛОЧКА

Двое стояли на тракте, ждали попутную машину. А машин не было. Час назад проехали две груженые — не остановились. И больше не было. А через восемь часов — Новый год.

Двое, отвернувшись от ветра, топтались на месте, хлопали рукавицами... Было морозно.

— Кхах!.. Не могу больше, — сказал один. — Айда греться, ну ее к черту все. Что теперь, подыхать, что ли?

Метрах в двухстах была чайная, туда они и направились.

Впереди, припадая на одну ногу, шагал тот, который предложил идти греться. При своей хромоте он шел как-то очень аккуратно, ловко, ладно. Следом, заложив руки за спину, вышагивал мужик метра в два ростом. Шагавший впереди то и дело оглядывался на тракт; второй сосредоточенно смотрел себе под ноги. Оба были из одной деревни, из Буланова, оба утром приехали в город по своим делам и договорились вместе уехать. Тот, что пониже, работал кладовщиком в булановской РТС, другой — кузнецом в той же РТС. Кладовщика звали Павлом. Большого мужика — Федором.

— Я думаю, их совсем седня не будет, — сказал Павел. — Под Новый год ни один дурак никуда не поедет.

Федор промолчал.

В чайной было тепло и пусто.

Павел прошел к стойке. Федор для приличия обмахнул рукавицей валенки и тоже прошел к стойке.

— Налей по сто пятьдесят, — сказал Павел.

— Все еще не уехали? — без всякого интереса спросила буфетчица. (Они уже разок приходили греться.)

— Не уехали. Новый год с тобой встречать будем. Согласная? — поинтересовался Павел.

Молодая толстая буфетчица налила два по сто пятьдесят, отрезала два куска хлеба и только после этого ответила:

— Много таких желающих найдется.

Павел сдвинул шапку на затылок, весело посмотрел на буфетчицу, сказал неопределенно:

— Да-а...

Выпили. Присели к столику, молча ели хлеб, макая его в солонку.

Вошел еще один посетитель, представительный мужчина в козлиной дохе, в новых негнущихся валенках, в папахе. Сказал громко:

— С приближающимся! — У него, видно, было хорошее настроение.

Никто ему не ответил.

Мужчина подошел к стойке, расстегнул доху.

— Сто грамм, голубушка, и чего-нибудь... — вытянул шею, разглядывая полки. — Чего-нибудь на зубок.

Павел толкнул коленом Федора, показал глазами на представительного мужчину. Федор кивнул. Этого человека они знали. Жила в их деревне одинокая вдова Нюра Чалова, добрая, приветливая баба. И вот этот самый человек ездил к ней из города по праздникам и в выходные

дни. В городе у него была семья, дети, двое, кажется. Нюра знала это, но почему-то отказать не могла — принимала. Все жалели Нюру, а этого гуся осуждали.

Мужчина выпил водку, смачно крякнул и подсел с бутербродом к столику.

— Тоже ехать?

— Мгм.

— Нету машин?

— Мгм, — односложно отвечал Павел, в упор разглядывая мужчину.

— А что делать?

— ???

— Черт... Мне надо срочно в Буланово добраться. Что же делать-то?

Павел, продолжая нескромно разглядывать ухажера, спросил:

— Что, живешь там?

— Да нет... — Мужчине стало жарко, он приспустил с плеч доху. Павел увидел у него во внутренних карманах две бутылки водки. — В гости еду.

— Понятно, — значительно сказал Павел.

— Как же добираться-то будем? — сокрушался мужчина. — А вам не в Буланово?

— Пешком, — решительно сказал Павел, отвлекаясь от ухажера. — Я думаю, надо идти, Федор. А то прокукуем тут... А?

Федор задумчиво жевал.

— Вы тоже в Буланово? — еще раз спросил мужчина. Опять ему не ответили.

— Пойдем бором, часа через четыре дома будем. Дорогу я знаю.

— Сколько километров? — все пытался влезть в разговор мужчина. И опять на него не обратили внимания.

— Как, Федор?

— Пошли. — Федор поднялся.

— Так вы тоже в Буланово? Или куда?

— В Буланово, — сердито ответил Павел.

— Черт возьми совсем! — Мужчина потрогал в раздумье гладко выбритый, круглый, как пятка, подбородок. — Что же делать-то? Совсем не идут машины?

— Попробуй подожди, может, тебе повезет.

Павел с Федором пошли из чайной. Мужчина смотрел им вслед тоскливым взглядом.

— К Нюрке опять собрался, — сказал Павел, когда вышли на улицу. — Водка в карманах... Гад.

Федор сплюнул на снег, надвинул поглубже шапку.

— Всыпать разок хорошенько — перестанет ходить, — сказал он. Помолчал и добавил: — Нюрку только жалко.

— Она тоже хороша!.. Знает же, что у него семья, дети!..

— Та-а... чо ты ее осуждаешь? Ихное дело... слабые они. А он, видно, приласкал.

Отошли от чайной далеко уже, когда услышали сзади возглас:

— Э-э!

Их догонял ухажер.

— Ты глянь! — изумился Павел. — Идти хочет.

Федор ничего не сказал и не сбавил шага.

— Пошли!.. Иду с вами! — объявил ухажер таким тоном, точно он кого-то очень обрадовал этим своим решением.

Пошли втроем.

Окраина городка точно вымерла. Злой ветер загнал все живое под крыши, к камелькам. Под ногами путников громко взыкала мерзлая дорога.

— Я седня на заводе разговор слыхал: в девятьсот восьмом году не метеор в тайгу упал, а люди какие-то к нам прилетали. С другой планеты, — заговорил Павел, обращаясь к Федору.

— Ерунда все это, — авторитетно заявил ухажер. — Фантазия.

— Что-то у них испортилось, и произошел взрыв — малость не долетели, — продолжал Павел, не обращая внимания на замечание ухажера. — Как считаешь, Федор?

— А я откуда знаю?

— По-моему, люди были, — сам с собой стал рассуждать Павел. — Что-нибудь не рассчитали... Могло горючего не хватить.

— Сказки, — уверенно сказал ухажер. — Народу лишь бы поболтать, выдумывают всякие теории.

Павел обернулся к нему:

— Есть поумнее нас с тобой. Понял?

Ухажер не понял.

— Ну и что?

— А то, что не надо зря вякать. «Сказки»...

Ухажер, глядя сверху на Павла, снисходительно усмехнулся.

— Верь, верь, мне-то что.

— Каждый из себя ученого корчит... — Павел сер-

дито высморкался. — Расплодилось ученых: в собаку кинь — в ученого попадешь.

Ухажер опять усмехнулся и посмотрел на Федора. И ничего не сказал. Замолчали. Под ногами тонко пела дорога: взык-взык, взык-взык... Ветер маленько поослаб.

Вышли за город. Остановились закурить.

— Теперь так: этот лесок пройдем, спустимся в лог, пройдем логом — ферма Светлоозерская будет. От той фермы дорога повернет вправо, к реке... Там пасека попадется. А там километров шесть — и Буланово, — объяснил Павел.

Пошли.

— А ты чего в городе делаешь? — спросил вдруг Федор, оглянувшись на ухажера.

— Как?

— Где работаешь-то?

— А? По снабжению. — Ухажер расправил плечи, весело посмотрел вперед. Положительно у него были хороши дела. Он радовался предстоящей встрече.

— Воруешь? — поинтересовался Павел.

— Зачем? — Снабженец не обиделся. — Кто ворует, тот в тюрьме сидит. А я, как видишь, вольный человек.

— Значит, умеешь.

— А к кому в гости идешь? — опять спросил Федор.

Снабженец ответил не сразу и неохотно.

— Так... к знакомым.

— Сколько ты, интересно, получаешь в месяц? — Павла взволновал вопрос: ворует этот человек или нет?

— Девятьсот восемьдесят. По-старому, конечно.

— А семья какая?

— Четверо со мной.

— Жена работает?

— Нет.

— Давай считать, — зловеще сказал Павел. — Двое ребятёшек — обуть, одеть: пару сот уходит в месяц? Уходит. Жена... тоже небось принарядиться любит: клади две сотни, а то и три. Пятьсот? Себе одеться — двести. Семьсот?.. А то и все девятьсот: выпить тоже, как видно, не за ворот льешь. Так? На пропитанье клади пять-шесть сот — сколько выходит? А ты одет-то вон как — одна доха небось тыщи две с половиной...

— Две семьсот, — не без гордости поправил снабженец.

— Вот!

— Уметь надо жить, дорогой товарищ. А это последнее дело: увидел, что человек хорошо живет, — значит, ворует. Легче всего так рассуждать.

— А где же ты берешь-то?!

— Уметь надо, говорю. И без воровства умные люди крепко живут. Голову надо иметь на плечах.

Павел безнадежно махнул рукой. И замолчал.

Прошли лесок. Остановились еще закурить.

— Половинку прошли, — сказал довольный Павел и похлопал себя руками по бокам. — Счас там пельмешки заворачивают!.. Водочка в сенцах стоит, зараза. С морозца-то так оно это дело пойдет! Люблю праздничка, грешная душа.

— А чего ты без жены в гости поехал? — спросил Федор, глядя на снабженца спокойно и презрительно.

Тот нехорошо прищурился, окинул громадного Федора оценивающим взглядом, сказал резко:

— А твое-то какое дело? — Он, видно, стал догадываться, куда клонит Федор. — Что тебе до моей жены?

Федор и Павел удивленно посмотрели на своего попутчика: как-то он очень уж просто и глупо разозлился. Павел качнул головой.

— Не глянется.

— Мне до твоей жены нету, конечно, дела, — вяло согласился Федор. — Интересно просто.

Пошли дальше.

Прошли еще километра три-четыре, прошли лог, свернули вправо.

Стало быстро темнеть. И вместе с темнотой неожиданно потеплело. Небо заволоклось низкими тучами. Подозрительно тихо сделалось.

— Чувствуете, товарищи? — встревоженно сказал снабженец.

— Чувствуем! — насмешливо откликнулся Павел; они с Федором шли впереди.

Еще прошли немного.

Федор остановился, выплюнул на снег окурок, спокойно, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Счас дунет.

— Твою мать-то, — заругался снабженец и оглянулся кругом — было совсем темно. И все та же зловещая давила тишина.

— Успеем, — сказал Павел. — Поднажмем малость.

Федор двинулся вперед. За ним — Павел и снабженец.

— А если не успеем? — спросил снабженец. — А?

— Отстань, ну тя! — обозлился Павел. — Трухнул уже?

Пошел снег. Поначалу сыпал сухой и мелкий, потом повалил густо, хлопьями. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом.

Так продолжалось недолго. Стал дергать нехолодный ветер, и с каждым разом порывы его крепчали.

Через десять минут вверху загудело.

— Так, — сказал снабженец, останавливаясь. Но оба его спутника молча продолжали идти вперед. Снабженец догнал их.

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный — в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль.

Дорогу перемело; ноги то и дело вязли в сугробе.

Павел раза три отбегал в сторону, пропадая во тьме. Появлялся и кричал бодро:

— Верно идем!

А идти становилось все труднее. Ветер ревел, бил людей холодными мокрыми ладонями, пытался свалить с ног. Вверху нечто безобразно огромное, сорвавшееся с цепей, бесновалось, рыдало, выло...

Снабженец путался в длинной дохе, падал. Один раз упал и потерял рукавицу.

— Э-э! — заорал он, ползая в снегу. — Подождите!

К нему подошел Федор. Долго вместе искали рукавицу. Нашли. Федор помог снабженцу подняться.

Павел топтался на снегу кругами — хотел понять: на дороге они или сбились.

— Где же пасека-то твоя?! — не скрывая раздражения, крикнул снабженец.

— Будет и пасека! Все будет... — ответил Павел. — Терпение! — Он надолго пропал в темноте.

Федор и снабженец стояли рядом, спинами к ветру.

— Трепач он, — сказал снабженец.

Федор повернул к нему голову.

— Я говорю, сбился он! — повторил снабженец.

Федор промолчал. Он знал это.

Неожиданно рядом появился Павел.

— Так, братики!.. — Он коротко и невесело хохотнул. — Маленько того... заблудились!

— Как? — спросил снабженец.

— Но я направление примерно знаю. Надо идти.

— Как заблудились?! — опять спросил снабженец.

— «Как! Как!» — озверел Павел. — Пасека должна быть, а ее нету, вот как! Заладил, блохастый!

— Ты что, смеешься, что ли?

— Пошли! — скомандовал Павел. — Главное, идти, не стоять. Я направление знаю: на ветер надо идти.

Федор послушно двинулся вперед — на ветер.

— Да куда идти?! Куда идти?! — перекрывая вой ветра, заорал снабженец. — Вы что, маленькие, что ли?!

Ему не ответили. Двое удалялись от него. Он догнал их, схватился за полушубок Федора, быстро заговорил:

— Надо счас в снег зарыться, переждать!.. Я слышал, так делают. Мы же пропадем иначе. Выбьемся из сил, и пропадем! Он же не знает, куда идти!..

Федор, не оборачиваясь, крикнул:

— Ничо, шагай!

С полчаса медленно, с отчаянным злым упорством шли навстречу ветру, проваливаясь по колена в снег.

Ветер неистовствовал.

Павел остановился наконец, долго соображал, бессмысленно вглядываясь в ревущую тьму.

— Ну?! — крикнул Федор.

— Придется выходить на тракт. На деревню можем не попасть — ни черта не видно! Сворачиваем! — распорядился он.

— Сволочь! — громко сказал снабженец.

Это услышали; Павел повернулся и пошел было к нему, но Федор подтолкнул его вперед.

— Дерьмо собачье, — проворчал Павел.

Опять трое, перегнувшись пополам, медленно побрели по целику. Ветер теперь бил слева.

Еще прошло какое-то время.

— Я больше не могу! — заявил снабженец. — Все! Остановились.

— Как это не можешь? — спросил Павел.

— Не могу! Ясно?.. — Снабженец глотнул ветра, закашлялся. — Надо же... кха-кха-кха!.. Надо ж понимать, идиоты! Никуда нам не выйти! — Он сел на снег и согнулся в новом приступе кашля. — Я зароюсь в снег и пережду.

К нему подошел Павел. Склонился.

— Идти надо, чего ты слюни-то распустил! Куда зароешься, дура сырая?.. Замерзнешь тут, как кочерыж-

ка, и все. Он на сутки зарядил, не меньше. Идти надо!

— Уйди от меня, трепач! — взвизгнул снабженец и заматерился.

Павел облапил его, стал поднимать.

— Пойде-ешь!.. Как Исусик, пойдешь у меня, ухажер сучий. Я те зароюсь...

Снабженец отчаянно упирался, хрипло, всхлипами дышал... Плюнул в лицо Павлу.

— Гад! Завел!..

Павел развернулся и навесил снабженцу в челюсть. Тот упал в снег. Федор, стоявший до этого в сторонке, подошел к ним, оттолкнул Павла. Взяв снабженца за грудки, поднял.

— Кому сказано: идти! А то, если я разок вмажу, от тебя одна доха останется. Шагай!

Снабженец покорно пошел.

— Погоди, — сказал Федор. — Давай твою доху, а сам надевай мой полушубок — легче будет.

Снабженец молча снял доху, надел легкий, удобный в ходьбе полушубок.

Павел вышел вперед... И опять пошли.

Часа в четыре ночи Павел остановился, расстегнул полушубок, вытряхнул из-за пазухи снег, сказал без особой радости:

— Буланово — собак слышно. — Он устал смертельно.

Постучались в крайнюю избу.

Их спросили из-за двери, кто они, откуда... Павел назвал себя, Федора. Им сказали, что не знают таких. Павел заорал:

— Вы что, с ума там посходили?! Люди подыхают, а они допрос учинили!

— Вышибай дверь, — робко и устало посоветовал снабженец.

Их впустили.

В избе выяснилось: это не Буланово, а зверосовхоз «Маяк». Павел аж присвистнул.

— Какого кругаля дали!

Снабженец осторожно отряхивался у порога. Федор снял доху, повесил на стену. Снабженец снял ее, вынес в сенцы и там долго отряхивал с нее снег.

— Водки теперь, конечно, не достать? — спросил Павел.

— Какая водка! — воскликнул хозяин, зевая и кутаясь в одеяло — в избе выстыло. Из-за его спины выглядывала недовольная заспанная жена. — Я б счас сам с удовольствием похмелился.

— Ну нет, так нет. На нет, говорят, и спроса нет, — грустно согласился Павел.

Снабженец долго устраивал доху на вешалку, потом присел на припечье.

— Давай спать, Федор, — сказал Павел. — Небось не простынем.

Они расстелили на полу полушубки, легли не раздеваясь. Хозяин дал им укрыться свой тулуп.

Снабженец залез на печку.

Погасили свет.

— Стретили Новый год, — вздохнул Павел. — Язви тя в душу.

Буран колотил по крыше дома. В печной трубе тоскливо завывало. Во дворе, под окнами, скулила собака. Громко хлопали ворота — когда входили, забыли их закрыть.

— Ворота-то... черти вы такие, — сказал хозяин. — Расхлещет теперь.

Пришельцы промолчали — никому не хотелось идти закрывать ворота.

Минут десять лежали тихо.

— Слышь, на печке! — строго сказал Павел. — У тебя есть водка. В карманах, в дохе. Я видел вчера. Мы же отдадим тебе...

— Была, — откликнулся негромко снабженец. — Потерял я ее. Выронил.

Павел повернулся на бок и затих.

С печки послышалось ровное посапывание. Павел неслышно поднялся, подошел к дохе снабженца и стал шарить по карманам — искал водку. Водки действительно не было. В одном кармане он наткнулся на какой-то странный колючий предмет. Павел вытащил его, зажег спичку — то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буковками: «Нюсе, моей голубушке. От Мити».

— Положь на место, — сказал вдруг снабженец с печки.

Павел положил елочку в карман дохи, лег.

— К Нюрке опять пошел? — спросил он.

— Не твое дело.

— «Митя», — передразнил Павел. — Какой же ты Митя? Ты уж, слава те господи, целый Митька.

— Огурцов Укроп Помидорович, — зачем-то сказал Федор. И хмыкнул.

— До чего ушлый народ! — возмутился Павел. — Залезет вот такой гад в душу с разными словами — и все, и полный хозяин там...

— Пошли вы к черту! — громко сказал снабженец. — Чего вы злитесь-то, как собаки?

— Да хватит вам, — заворчал хозяин. — Нашли время разговаривать. Дайте доспать нормально.

Замолчали.

Хозяин через три минуты захрапел.

— А то злятся все, как собаки, — сказал снабженец с печки. — Не глянется, что лучше вас живу?

Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить.

— Закрой варежку, — сказал наконец Павел. — Ворюга.

— Ты меня поймал, чтоб так говорить? — повысил голос снабженец.

Чувствовалось, что он привстал.

— Я тебя по походке вижу.

— Нет, ты поймал меня?

— Сдался ты мне — ловить тебя. А от Нюрки тебя, поганца, отвадим, заранее говорю. Придешь седня, мы там поговорим.

— Да какое ваше дело?! — почти закричал снабженец.

Проснулся хозяин.

— Ну, ребята, — сердито заговорил он, — пустил вас, как добрых, так вы теперь соснуть не даете. Чего вы орете-то? Что, дня не хватает для разговоров ваших дурацких?

Замолчали.

Долго лежали так.

— Как собаки, накинутся... — шепотом сказал снабженец.

— Гад, — тоже шепотом сказал Павел. — «Милой голубушке...» Голубчик нашелся. Я тя седня в деревне приголублю.

Федор хохотнул в рукав.

— Мужики, у вас совесть есть или нету? — совсем зло сказала хозяйка. — Вы что?!

— Все, спим, — серьезно сказал Павел. — Давай спать, Федор.

Скоро все заснули.

К утру буран улегся.

Павел с Федором проспали; снабженца в избе уже не было.

— Ушел, — сказал хозяин.

Выпили с хозяином две бутылки водки и пошли навеселе в Буланово.

Двенадцать километров отшагали незаметно.

В Буланове завернули еще в чайную, еще подкрепились... Совсем хорошо стало на душе.

— Пошли к Нюрке зайдем? — предложил Павел. — Поглядим на их...

— Пошли, — согласился Федор.

— Мне все же охота поговорить с им, — не терпелось Павлу. — Доху надел... Сука! А я полушубок не мог взять: по шестьдесят восемь рублей привозили, не мог занять ни у кого. А что я, хуже его работаю?! — Павел кричал и размахивал руками. — Что я, хуже его?!

Федор молчал.

Нюра ждала гостей... Только не этих. Сидела в прибранной избе — нарядная, хорошая. Стол был застелен камчатной скатертью; на нем стоял начищенный самовар — и все пока, больше ничего. В избе было празднично.

— А где он? — сразу спросил Павел.

— Кто?

— Этот гусь... В дохе-то?

Нюра покраснела.

— Никого здесь нету. Вы чего?

— Не пошел, — сказал Федор. — Он обратно в город уехал.

— А-а... струсил! — Павел был доволен. Стал рассказывать Нюре: — Шли ночью с твоим... ухажером. Елочку тебе нес, гад такой. И главное, написал: «От голубчика Мити». Я говорю: если, говорю, я тебя еще раз увижу у Нюрки, ноги повыдергаю. Ты, говорю, недостойный ее! Ты же так ездишь — лишь бы время провести, а ей мужа надо. Да не такого мозгляка, а хорошего мужика! — Не замечал Павел, как меняется в лице Нюра, слушая

его. — А ты гони его, если он еще придет! Гони метлой поганой! Митя мне, понимаешь...

Федор смотрел на Нюру. Молчал.

— Спасибо, Павел, — сказала Нюра.

— Ты мне скажи, когда он придет...

— Спасибо тебе. Позаботился. А то сидишь одна — и никому-то до тебя нету дела. А ты вот пришел... позаботился... — Нюра отвернулась к окну, кашлянула.

— А чего? — не понял Павел.

— Ничего. Спасибо... — Голос Нюры задрожал. Она вытерла уголком платка слезы.

— Пошли, — сказал Федор.

— А ты чего, Нюр? — все хотел понять Павел.

— Пошли, — опять сказал Федор. И подтолкнул Павла к двери. Вышли.

— А чего она?

— Зря, — сказал Федор. — Не надо было.

— Чего она, обиделась, что ли?

Федор не ответил.

— Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она — в слезы. Бабье!

— Трепесся много, — сказал Федор. — Как сорока на колу. У вас все в роду трепачи были. Балаболки.

— А ты-то чо? — Павел приостановился от неожиданности.

Федор как шагал, так продолжал шагать.

— Федор! — крикнул Павел. — Пошли, у меня пара бутылок дома есть. Пошли?

Федор свернул в свой переулок — не оглянулся.

Павел постоял немного в раздумье. Плюнул в сердцах и тоже пошел домой.

— Пошли вы все!.. Им же, понимаешь, лучше делаешь, а они... строют из себя. Я же виноват, понимаешь. Народ!

ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?!

У Проньки Лагутина в городе Н-ске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры, покупал им пару бутылок красного вина и учил:

— Вы, главное, тут... смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе: «Вы, мол, мне глянетесь, то-се, разрешите вас под ручку», — вы его по руке: «Не лезь! Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме».

В один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд уходил вечером.

Походил, поглазел, попил воды из автоматов... И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

— Молодой человек, простите, пожалуйста. — Подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите, я займу минутку вашего времени?

— Зачем? — спросил Пронька.

Женщина присела на скамейку.

— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции...

— Кино фотографируете?

— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого... вашего типа.

— А какой у меня тип?

— Ну... простой... Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

— Так, понимаю.

— Вы где работаете?

— Я приезжий, к сестре приезжал...

— А когда уезжаете?

— Сегодня.

— Мм... тогда, к сожалению, ничего не выйдет. А у себя... в селе, да?..

— Но.

— У себя в селе где работаете?

— Трактористом.

— Нам нужно, чтоб вы по крайней мере неделю побыли здесь. Это нельзя?

— Трудно. Сейчас самое такое время.

— Понимаю. Жаль. Извините, пожалуйста. — Женщина пошла было, но вернулась. — А знаете, у вас есть минут двадцать времени?

— Есть.

— Я хочу показать вас режиссеру... для... как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем? Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

— Пошли.

По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят...

— А этот тип зачем приезжает в город?

— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

— Интересно, — сказал Пронька. — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебрать. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребятишки — повернуться негде будет. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

— Вы несколько рановато об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь?

— Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что...

— Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти...

— Вы же сказали, что я как раз тот самый тип!

— Это решает режиссер.

Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми умными глазами, очень приветливо встретил Проньку. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проньки.

— Добре, — молвил режиссер. — Если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем... поиграть немного.

Женщина вышла.

— Как вас зовут, я забыл?

— Прокопий. — Пронька встал.

— Сидите, сидите. Я тоже сяду. — Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Проньку. — Тракторист?

— Ага.

— Любите кино?

— Ничего. Редко, правда, бывать приходится.

— Что так?

— Да ведь... летом почёсть все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем...

— Что это такое?

— На лесозаготовки. Женатые-то дома, на ремонте, а холостежь — вроде меня — на кубы.

— Так, так... Вот какое дело, Прокопий. Есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых.

А знакомство такое... шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?

— Понятно.

— Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства... и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?

— А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не ндравится.

— Ну... бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. — Режиссер помолчал, глядя на Проньку. — Это непонятно?

— Понятно. Темнят.

— Темнят, да. Попробуем?.. Слова на ходу придумаем. А?

— А как?

— Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя, как бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий, Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его — Иван. Давайте!

Пронька вышел из номера... и вошел снова.

— Здравствуте.

— Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз.

Пронька вышел и постучал в дверь.

— Да!

Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.

— А где «здравствуйте»?

— Я же здоровался.

— Мы же снова начали.

— Снова, да?

Пронька вышел и постучался.

— Да!

— Здравствуте!

— О, Иван! Входите, входите, — «обрадовался» режиссер. — Проходите же! Каким ветром?

Пронька заулыбался.

— Привет! — Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?

— А чего ты радуешься? — спросил режиссер.

— Тебя увидел... Ты же тоже обрадовался.

— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался? Дошло?

— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Проньке.

— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Пронька опять вышел и постучался.

Все повторилось.

— Ну, как житуха? — спросил Пронька, улыбаясь.

— Да так себе... А ты что, по делам в город?

— Нет, совсем.

— Как совсем?

— Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Пронька выбился из игры.

— Опять снова?

— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а... ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

— Ага.

— Ну и как?

— Что?

— А где жить будешь?

— У тебя. Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

— Что-то не выходит у нас... Сразу быка за рога взяли, так не годится, — сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду — тоже радуешься. Попробуем?

— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по бревнышку.

— Почему разнесут?

— От удивления. Меня же на руках вынесут!..

— М-да... Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Пронька вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

— Ваня! Ты как здесь?! — воскликнул режиссер.

— А тебя как зовут?

— Ну, допустим... Николай Петрович.

— Давай снова, — скомандовал Пронька. — Говори: «Ваня, ты как здесь?!»

— Ваня, ты как здесь?!

— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» — Пронька показал, как надо сделать. — Вот так.

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.

— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками.

Пронька сиял.

— Здорово, Петрович! Как житуха?

— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя... Ну хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. Ваня, ты как здесь?!

— Хочу перебраться в город.

— Совсем?

— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться...

— А жить где будешь? — сполз с «радостного» тона Николай Петрович.

— У тебя. — Проньку не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.

— Да, но у меня тесновато, Иван...

— Проживем! В тесноте — не в обиде.

— Но я же уже недоволен, Иван... то есть, Проня! — вышел из терпения режиссер. — Разве не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общагу.

— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?..

— Ты родом откуда? — перебил режиссер.

— Из Колунды.

— А хотел бы действительно в городе остаться?

— Черт ее... — Пронька помолчал. — Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

— Как тебе сказать... — Режиссеру не хотелось огорчать Проньку. — У нас другой парень написан. Вот есть сценарий... — Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся: — А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город...

— Да нет, если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать.

— Ну а если бы?

— Что?

— Приехал ты к знакомым...

— Ну, приехал... «Здрасте!» — «Здрасте!» — «Вот и я пожаловал». — «Зачем?» — «Хочу на фабрику устроиться...»

— Ну?

— Все.

— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель...

— Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно. Как тут быть?

— Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?»

— А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!» А сами недовольны, ты это прекрасно понимаешь. Как быть?

— Не знаю. А как там написано? — Пронька кивнул на сценарий.

— Да тут... иначе. Ну а притвориться бы ты смог? Ну-ка давай попробуем? Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только...

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.

— Ну... ну... Да почему?! Я же говорил!.. Я показывал, какие! А, черт!.. Сейчас спущусь. Иду. Проня, подожди пять минут. Там у нас путаница вышла...

— Не слушаются? — поинтересовался Пронька.

— Кого? Меня?

— Но.

Режиссер засмеялся.

— Да нет, ничего... Я скоро. — Режиссер вышел.

Пронька закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

— Ну, как у вас?

— Никак.

— Что?

— Не выходит. Там другой написан.

— Режиссер просил подождать?

— Ага.

— Значит, подождите. — Женщина порылась в стопке сценариев, взяла один... — Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод.

Она сунула Проньке сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса к Проньке больше не было. И вообще Проньке стало почему-то тоскливо. Представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь — занимать места в автобусах... А его не будет там, и он не заорет весело на бегу: «Давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь!» И не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни. Не пахнет кизячным дымом... Не встретит мать на пороге привычным: «Приехал. Как она там?» И не ответит он, как привык отвечать: «Все в порядке». — «Ну, слава богу».

Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

«Не выйдет у нас.

Лагутин Прокопий».

И ушел.

ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ

— Идет! — крикнул Славка. — Гусь-Хрустальный идет!

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать. — Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь... поновей.

— Какую? Может, марш?

— Вот, какую-то недавно учил?..

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять. — Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает — переставит. — Пора... Сегодня у нас... што? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Да, — вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить — она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело, — сказал дядя Володя. — В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

Когда говорила?! О, боже милостивый!.. Что с ней?

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка.

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж, господи...

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то... — Мать строго посмотрела на Славку. — Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду:

«Учи! Тебе надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме... Нас-то много они слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать. — Алименты свои плóтит — и довольный. А тут рóсти, как знаешь...

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он...

— Ты пришел из школы: сразу — раз — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка...»

— Говорить мало, — заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

— Ху-у... Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет.—Дядя Володя закурил.—Я ведь пил, крепко пил...

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего, — откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь — пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя. — А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?» Х-хе...

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?
— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.
— Разбился?!
— Ну, с девятого этажа — шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!»
— Сердешный... — вздохнула мать.
Дядя Володя посмотрел на Славку...
— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить.
Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась.
— Ну отдохни, сынок.
Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.
Дядя Володя расставлял на доске фигуры.
— В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?
— По родной речи. Трояк.
— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е два, Е четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.
Славка походил пешкой.
— А зачем говорят-то «Е два, Е четыре»? — спросила мать, наблюдая за игрой.
— А шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.
Славка походил пешкой.
— У нас дядя Иван тоже шутит, — сказал он. — Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь». — Славка засмеялся.
— Кто это?
— Он завхозом у нас.
— А-а... Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, — недовольно заметил дядя Володя.
Мать и Славка промолчали.
— Не перевариваю этих соображал, — продолжал дядя Володя. — Живут — небо коптят.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — жена-то как же?

— Жена-то? — Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да. Реагировала-то.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! — Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. — Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

— Как это? — не понял Славка.

— Горшок об горшок-то? — Дядя Володя снисходительно улыбнулся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался ба... Ох, пил!.. Спомнить страшно.

— Не думаете сходиться-то? — спросила мать.

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка... — Дядя Володя думал, сморщившись. — Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую. — Дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет счас небось?

— Жена-то? Тайно, конешно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка... Ты так? А мы — так! Шахович. Со-

фы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу.

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже? — спросил Славка.

— Волчья небось твердая, — сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет, — сказал дядя Володя. — Вот где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

— Зима скоро, — вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья...

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Славка. — Не проходили еще.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Руль, — с досадой сказала мать, глядя в окно. — Чего ходит?..

— Тоска, — сказал Славка. — Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

— Чего ходить тогда? — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку. — Нечего и ходить тогда. Правда что Гусь-Хрустальный.

ВОЛКИ

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум. — Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он. — Да потому, что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь — как проклятый: ни дня ни ночи. Ни воскресенья.

— Что же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана. — Ему же коня достали, и он еще недовольный.

— Я слыхал: в городе тоже работать надо, — заметил тесть.

— Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя — и вода, и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты ба тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.

Иван отказался — не хотелось.

— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.

— Так точно, ваше благородье!

— Да-а... Вот так. А ты говоришь — водопровод... Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко — верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт-те чего!.. Из лесу в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги, — пять штук. Вышли из леса, стоят ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами — не мог перешагнуть оглоблину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван. — Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. А сейчас Иван понял, что волк — это волк, зверь. Самую лю-

тую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону. Сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... «Конец. Смерть». Глянул вперед.

— Сто-ой! — заорал он. — Отец!.. Дай топор!

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся.

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отско-

чили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль.

Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В последующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми, круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла, — сказал он. — Жрите, сволочи. — И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы — и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те господи! — На совести у него все-таки было неспокойно.

— Живой! — откликнулся Иван. — А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул к саням.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Я тебя бить буду, а не лаяться.

Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями. — Стой, паразит!

Наум нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — кричал Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум. — Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил! Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да как отбились?! Ты что!

— Предал, змей! Я тебя проучу! Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня. — Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета: остановись! — Иван стал выдыхаться. — Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже очень отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

— Найду, никуда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел не допитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома, — удовлетворенно сказал Иван.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял для... красноречия. — Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра. — Ты что?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван, — заговорил милиционер. — Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я ж тебе бросил топор? Ты попросил — я бросил. Чево еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты — шкура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум, — сказал милиционер. — При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В городе лучше, — продолжал Наум. — А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

— Бросьте вы! Пошли, Иван...

— Таких возбудителев-то знаешь куда девают? — не унимался Наум.

— Знаю! — ответил Иван. — В прорубь головой... — И шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руку и повел из избы.

На улице остановились, закурили.

— Ну не паразит ли! — все изумлялся Иван. — И на меня же попер.

— Да брось ты его!

— Нет, отметелить я его должен.

— Ну и заработаешь! Из-за дерьма.

— Куда ты меня?

— Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.

— Нет, это же... что ж это за человек?

— Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.

Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.

— Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.

— Не догнал! — с досадой сказал Иван. — Не мог догнать.

— Ну вот... Теперь все — теперь нельзя.

— Коня жалко.

— Да...

Замолчали. Долго шли молча.

— Слушай, отпусти ты меня. — Иван остановился. — Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его.

— Да нет, пойдем. Пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи говорю. Пойдем в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?

Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.

— Играю.

ГОРЕ

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже — не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, — сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Они помнятся.

Одна такая ночь запомнилась на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то... гляди-ко, сердешная». Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли — и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып...» Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была — и нету, ушла.

...Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем нестрашно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку. Я прислушался.

— Ничо... счас маленько уймусь... мирно побеседуем, — тихо говорил старик и все не мог унять слезы. — Третий день маюсь — не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хошь што делай. Вот как!

Помаленьку он успокоился.

— Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы — и то легше. А то — думай теперь... Охо-хо... — Помолчал. — Ну, обмыли тебя, нарядили — все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Серьгею уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым терпеливым голосом.

— Вот гадаю, — продолжал дед Нечай, — куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай. А этто вчерашной ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся: а это не яички, а цыпляты живые, маленькие ишо. И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь... Страсть господния! Проснулся... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя — нету. Парасковьюшка... язви тя в душу!.. — Дед Нечай опять заплакал. Громко. Завыл както, застонал протяжно: — Э-э-э... у-у... Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез... вылечиваются люди. А то — ни слова, ни полслова — вытянулась! Так и я сумею... — Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. — Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хоть почаще... только нормально. А то цыпляты какие-то... черт-те чего. А тут... — Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал. — Грешным делом, хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино... стонала. Выкопали, она живая. Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хо-

тел... Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный, а все думают, што помер человек, а он не помер, а сонный...

Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком — да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или вроде бы с ей разговаривает? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть...

— Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

— Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает. — Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

— Кто тут? — строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

— Кто здесь, я спрашиваю?

— А чего тебе?

— Ты, Нечай?

— Но...

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недоволен.

— А ишо кто тут был?

— Иде?

— Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

— Не твое дело.

— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой — чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь... Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.

— С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек — в земле.

— Она разговаривает со мной, я слышу, — упрямился Нечай. — И нечего нам мешать. Ходют тут, подслушивают...

— Ну-ка, пошли. — Дед легко поднял Нечая с земли. — Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем — полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

— Чижало, кум, силов нету. — Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед. — Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко... кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь.

— Вроде соображаю, а... запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет. Серьга-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум! Сроду не думал...

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже... дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая—умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню: все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас. Они легли рядом на полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу, — негромко стал рассказывать мой дед. — Ты вот не воевал — не знаешь, как там было... Там, брат, похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А «студебеккер» наш битком набитый. Стонают, просют потише... А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был, совсем тоже плохой, почесть лежал: Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-

то, часует, бедный. Я голову его на коленки к себе взял, она вся в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых... — Дед крякнул, помолчал... Закурил. — Миколай тоже стал помогать... Подал я ему лейтенанта-то... «Все, говорю, кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то... Кхэк.... — Опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм.. — Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили... Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

— Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть — без вести и без вести, а так — совсем. Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

— Господи, господи, — опять вздохнул дед Нечай. — Сам-то хоть живой остался?

— Миколай? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам... Вот какая история. Сына!.. — легко сказать. Да молодого такого...

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!

СЛУЧАЙ В РЕСТОРАНЕ

В большом ресторане города Н. сидел маленький старичок с голой опрятной головкой, чистенький, тихий, выглаженный. Сидел и задумчиво смотрел в окно — ждал, когда принесут ужин.

— Свободно, батя? — спросил его сзади могучий голос.

Старичок вздрогнул, поднял голову.

— Пожалуйста, садитесь.

Сел огромный молодой человек в огромном коверкотовом костюме, на пиджаке которого отчаянно блестели новенькие черные пуговицы. Старичок уставился в глаза парню — почему-то в них приятно смотреть: они какие-то ужасно доверчивые.

— Что, батя? — спросил детина. — Врежем?

Старичок вежливо улыбнулся.

— Я, знаете, не пью.

— Чего так?

— Годы... Мое дело к вечеру, сынок.

Подошла официантка, тоже засмотрелась на парня.

— Бутылочку «Столичной» и чего-нибудь закусить,—распорядился молодой человек.—Шашлыки есть?

— Водки только сто грамм.

Детина не понял.

— Как это?

— Положено только сто грамм.

— Вы что?

— Что?

— Мне больше надо.

Старичок, глядя на парня, не вытерпел, засмеялся тихонько.

— Знаете, — сказал он официантке, — мне ведь тоже положено сто граммов? Так принесите ему двести.

— Не положено. Шашлык... Что еще?

Детина беспомощно посмотрел на старичка.

— Что это?.. Она шутит, что ли?

Старичок посерьезнел, обратился к официантке:

— Вы ведь знаете: правил без исключения не бывает. Видите, какой он... Что ему сто граммов?

— Нельзя, — спокойно сказала официантка и опять с удовольствием, весело посмотрела на парня.—Что еще?

Тот понял ее веселый взгляд по-своему.

— Ну, хоть триста, красавица, — попросил он. — М-м? — И кокетливо шевельнул могучим плечом.

— Нельзя. Что еще?

Детина обиделся.

— Сто бутылок лимонада.

Официантка захлопнула блокнотик.

— Подумаете, потом позовете. — И отошла от стола.

— Выпил называется, — горько сказал детина, глядя вслед ей. — Тц...

— Бюрократизм, он, знаете, разъедает не только учреждения, — сочувственно заговорил старичок. — Вот здесь, — он постучал маленьким белым пальчиком по бе-

лой скатерти, — здесь он проявляется в наиболее уродливой форме. Если вас не принял какой-то начальник, вы еще можете подумать, что он занят...

— Что же все-таки делать-то? — спросил детина.

— Возьмите коньяк. Коньяк без нормы.

— Да?

— Да.

Парень поманил официантку. Та подошла.

— Я передумал, — сказал он. — Дайте бутылку коньяка и два... Батя, шашлык будешь?

Старичок качнул головой.

— Я уже заказал себе.

— Два шашлыка, пару салатов каких-нибудь и курицу в табаке.

— Табака, — поправила официантка, записывая.

— Я знаю, — сказал детина. — Я же шучу.

— Все?

— Да.

Официантка ушла.

Детина укоризненно покачал головой.

— На самом деле бюрократы. Ведь коньяк-то крепче. Они что, не знают, что ли?

— Коньяк дороже, в этом все дело, — пояснил старичок. — Вы, очевидно, приезжий?

— Но. За запчастями приехал. Седня получил — надо же выпить.

— Сибиряк?

— С Урала.

— Похожи... — Старичок улыбнулся. — Когда-то бывал в Сибири, видел...

— Где?

— Во Владивостоке.

— А-а. Не доводилось там бывать.

Тут заиграла музыка. Детина посмотрел на оркестрантов. К микрофону подошла девушка, обтянутая сверкающим платьем, улыбнулась в зал... Детина спокойно отвернулся — ему такие не нравились. Девушка запела, да таким неожиданно низким, густым голосом, что детина снова посмотрел на нее. Девушка пела про «хорошего, не встреченного» еще. Удивительно пела: как будто рассказывала, а получалось — пела. И в такт музыке качала бедрами. Детина засмотрелся на нее...

Наплывали тягучие запахи кухни; гомон ресторанный покрывали музыка и песня девушки. Уютно и хорошо стало в большом зале с фикусами.

Парню все больше и больше нравилась девушка. Он посмотрел на старичка. Тот сидел спиной к оркестру... Вобрал голову в плечи и смотрел угасшими глазами в стол. Рот приоткрыт, нижняя губа отвисла.

— Пришла, — тихо сказал он, когда почувствовал на себе взгляд парня. И усмехнулся, точно оправдывался, что на него так сильно действует песня.

А девушка все пела, улыбалась... В улыбке ее сквозило что-то не совсем хорошее. И все-таки она была красивая и очень смелая.

Детина обхватил голову громадными лапами и смотрел на нее.

— От зараза! — сказал он, когда девушка кончила петь. — А?

— У меня не такая уж большая пенсия, — доверчиво заговорил старичок, — и я ее, знаете, всю просаживаю в этом ресторане — слушаю, как она поет. Вам тоже нравится?

— Да.

— И обратите внимание: она же совсем еще ребенок. Хоть накрашена, хоть, знаете, этакая синевца под глазами и улыбаться научилась, а все равно ребенок. Меня иной раз слеза прошибает.

— Она еще петь будет?

— До без четверти одиннадцать.

Принесли коньяк, шашлык, салаты. Старичку принесли рисовую кашу.

— Выпьешь, батя? — предложил парень.

Старичок посмотрел на бутылку, подумал, махнул рукой и сказал:

— Наливайте! Граммов двадцать пять.

Детина улыбнулся, налил в синюю рюмку — половину, себе набухал в фужер и сразу, не раздумывая, выпил.

— Боже мой! — воскликнул старичок.

— Что?

— Здорово вы...

— Между прочим, я его не уважаю — вонючий.

— Завидую я вам... Вы кто по профессии?

— Бригадир. Лесоруб.

— Завидую вам, черт возьми! Прилетаете сюда, как орлы... Из какой-то большой жизни, и вам тесно здесь... Тесно, я чувствую.

Детина ел шашлык, слушал.

— Пей, батя.

Старичок выпил, крякнул и заторопился закусывать.
— Давно не пил, года три.
— Вы что, одинокий, что ли?
— Одинокий, — старичок кивнул головой.
— Плохо.
— Ничего... Я как-то не думаю об этом. Мне вот она, — кивнул он в сторону оркестра, где только что пела девушка, — дочерью, знаете, кажется. Люблю ее, как дочь. И ужасно боюсь за ее судьбу.
— Она знает тебя?
— Нет, откуда?
— Хорошо поет. Я не люблю, когда визжат.
— Да, да...
Детина отклонился от стола, гулко стукнул ладонью себя в грудь. Шумно вздохнул.
— Добрый шашлычишко.
— Вы — какие-то хозяева жизни. Я не умел так, — грустно сказал старичок.
Оркестранты опять взялись за инструменты.
Опять вышла девушка, поправила микрофон.
Детина закурил.
— Пришла, — показал он глазами на нее.
Старичок обернулся, мельком глянул на девушку.
— Я не вижу. А в очках смотреть... как-то не могу, не люблю. Редко смотрю.
Девушка запела. Песенка была о том, как она влюбилась в молчаливого парня, мучилась с ним, но любила.
Детина слушал, задумчиво улыбался. Старичок опять ушел в себя, опять потух его взор и отвисла губа.
Девушка шутила, рассказывала, как она любила такого вот идиота, который умел произносить только «ага» и «ого». Хорошая песенка, озорная. Казалось, девушка про себя рассказывает — так просто у нее получалось. И оттого, что она рассказывала это всем, не боялась, казалась она такой родной, милой...
Детина ощутил в груди странную, горячую радость. Жизнь со всеми своими заботами и делами отодвинулась далеко-далеко. Остались только звуки ее, песня. Можно было шагать в пустоте, делая огромные шаги, так легко сделалось.
— Давай еще, батя! — Парень налил старичку и себе.
Старичок покорно выпил, закрутил головой и сказал:
— Это что же такое будет со мной?
— Ничего не будет. Мне тоже что-то жалко ее, — признался парень. — Поет тут пьяным харям.

— О!.. — Старичок нацелился на него белым пальчиком. — Женись на ней! И увези куда-нибудь. В Сибирь. Ты же можешь... Ты вон какой!..

— Во-первых, я женатый, — возразил детина. — А потом: разве ж она поедет в Сибирь? Ты подумай...

— С тобой поехала бы.

— Едва ли.

Старичка заметно развезло. Он вытер рот, бросил скомканный платок на стол, заговорил горячо и поучительно:

— Никогда не надо так рассуждать: поехала, не поехала. Увидел, человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай. Тем более бог ничем, кажется, не обидел — ты же сильный!

— Я женатый! — опять возразил детина. — Ты что?

— Я не о том. Я о тенденции... Налей-ка мне еще. Что-то мне сегодня ужасно хорошо.

Детина налил в синюю рюмку. И себе тоже налил в фужер.

— Ты мне напомнил одного хорошего человека, — стал рассказывать старичок. — Ты кричишь здорово?

— Как кричишь?

— Ну-ка рявкни, — попросил старичок.

— Зачем?

— Я послушаю. Рявкни.

— Нас же выведут отсюда.

— Та-а... Плевать! Рявкни по-медвежьи, я прошу.

Детина поставил фужер, набрал воздуху и рявкнул. Танцующие остановились, со всех сторон обернулись к ним.

Старичок влюбленно смотрел на парня.

— Хорошо. Был у меня товарищ, тоже учитель рисования... Ростом выше тебя... Ах, как он ревел! Потом он стал тигроловом. Ты знаешь, как тигров ловят? На них рявкают, они от неожиданности садятся на задние лапы...

Вышла певица и запела какую-то незнакомую песню. Детина не разбирал слов, да и не хотел разбирать. Опять облапил голову и сидел, слушал.

— Давай увезем ее? — предложил он старичку. — Она у нас в клубе петь будет.

— Давай, — согласился старичок. — У меня душа спокойнее будет. Давай, Ваня!

— Меня Семеном зовут.

— Все равно. Давай, сынок, спасем человека!

Детина слушал старичка, и у него увлажнились

глаза. Пудовые кулаки его сами собой сжимались на столе.

— Ты тоже поедешь со мной, — заявил он.

— Я? Поеду! — Старичок пристукнул сухим кулачком по столу. — Мы из нее певицу сделаем! Я понимаю в этом толк.

К ним подошла официантка.

— Товарищи, что тут у вас? Кричите... Вы же не в лесу, верно?

— Спокойно, — сказал детина. — Мы все понимаем.

— С вас получить можно? — обратилась официантка к старичку.

— Спокойно, — сказал старичок. — Продолжайте заниматься своим делом.

Официантка удивленно посмотрела на него и ушла.

— Я всю жизнь хотел быть сильным и помогать людям, но у меня не получилось — я слаб.

— Ничего, — сказал детина. — Ты видишь? — Показал кулак. — Со мной не пропадешь: с ходу любого укокошу.

— Ах, как я бездарно прожил, Ваня! Как жалко... Я даже не любил — боялся любить, ей-богу.

— Почему?

Старичок не слушал детину, говорил сам.

— А была вот такая же и тоже пела... Ужасно пела! И я так же сидел и слушал. Ее тоже надо было спасти. Там были офицеры... Это давно было. Красавцы!.. Тьфу! — Старичок затряс головкой. — Лучше бы я ошибался, лучше бы пил, — может, смелее был бы. Я же ни разу в жизни не ошибся, Ваня! — Он стукнул себя в грудь, помигал подслеповатыми глазами. — Ни одной штуки за всю жизнь не выкинул. Ты можешь поверить?

— А что тут плохого?

— Ни одного проступка — это отвратительно. Это ужасно! Когда меня жалели, мне казалось — любят, когда сам любил — я рассуждал и боялся.

— Лишка выпил, батя, — сказал парень. — Закусывай.

— Ты не понимаешь — это хорошо. Не надо понимать такие вещи.

— В Сибирь-то поедем?

— Поедем. Я допью это?

— Пей, — разрешил детина.

Старичок допил коньяк, трахнул рюмку об пол. Она

со звоном разлетелась. А сам лег грудью на стол и заплакал.

К их столику шли официантки и швейцар. Детина, прищурившись, спокойно смотрел на них. Он был готов защищать старичка. Ему даже хотелось, чтоб его нужно было защищать.

— В чем дело?

— В шляпе. Мы едем в Сибирь, — угрожающе сказал детина.

— Хорошо. А зачем же хулиганить?

— Мы не хулиганим, мы слушаем, как здесь поют.

— Она же бездарно поет, Ваня! Это ужасно, как она поет, — сказал старичок сквозь слезы. — Ты рявкаешь лучше. Талантливее. Она же не умеет петь. Но не в этом дело. Совсем не в этом...

— Кто будет платить за рюмку?

— Я, — ответил детина, с изумлением глядя на старичка. — Я плачу за все.

Пока официантка рассчитывалась с парнем, старичок, уронив на руки полированную головку, плакал тихонько. И бормотал:

— Ах, Ваня, Ваня... зверь ты мой милый... Как рявкнул! Орел!.. Улетим в тайгу. Улетим... В Сибирь!

— Кто это, не знаете? — тихонько спросила официантка.

— Это... — Парень подумал. — Это крупный интеллигент. Он сейчас на пенсии.

Официантка с жалостью посмотрела на старичка.

— Он часто здесь бывает, но никогда не пил. А сегодня чего-то... Уведите его, а то попадет куда-нибудь.

Детина ничего не сказал на это, встал, взял старичка под руку и повел. Старичок не сопротивлялся, только спросил:

— Куда, Ваня?

— Ко мне в номер. А завтра в Сибирь.

Дежурная по этажу заартачилась, не пускала в номер со старичком. Детина держал старичка; повернулся к ней боком и сказал:

— Достаньте в брюках, в кармане, деньги. Берите, сколько надо, только не вякайте.

Дежурная глубоко возмутилась, отдала ключ, но предупредила:

— Завтра же вас здесь не будет!

— Завтра мы в Сибирь уезжаем.

— В Сибирь, Ваня!.. Я хоть помру по-человечески, —

бормотал старичок. — Знаешь, не надо ключом — дай ногой разок, — попросил он. — Умоляю: садани хорошенько. Мы потом заплатим.

— Спокойно, — гудел детина. — Спокойно, батя. Вот раздухарился-то!.. Указ же вышел — нам с ходу счас по пятнадцать суток заделают.

— Не бойся!

Детина отомкнул номер, бережно положил старичка на кровать, снял с него туфли, хотел было снять пиджак, но старичок почему-то запротестовал.

— Не надо, я так. Не жалею, не зову, не плачу...

— Ладно, — согласился парень. — Спи. — Выключил свет и лег на диван.

— В Сибирь, Ваня? — спросил старичок.

— Завтра. А сегодня спать надо.

— Спим. Ах, Ваня, Ваня...

— Спи, батя.

...Утром детина нашел на столе записку.

«Ваня, я не могу с тобой в Сибирь. Спасибо за все. Прощай».

Старичка нигде не было. Сказали: ушел рано утром.

ДУМЫ

И вот так каждую ночь!

Как только маленько угомонится село, уснут люди — он начинает... Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехнулась:

— А вы не слухайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право, — опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала Алена, хозяйка.

— Спи, — кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, — говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо

била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уже, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз, — пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они вырастали... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя — «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, — нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, та-

кая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворошилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как

его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в праздпички — ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись, — будил Матвей жену. — Ты смерти страшисся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звонаря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь.

— Ну, ну, — сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.

В ПРОФИЛЬ И АНФАС

На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у старика раннее солнышко, и он — давно-давно — шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони. И в бане парятся здорово,

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

— Гуляешь? — спросил старик.

— Это не гульба, дед, — не сразу сказал Иван. — Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля?

— Откуда?

— Башка лопается по швам.

— Как с работой-то?

— Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

— Кто, директор?

— Ну. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

— На сколь отобрали права-то?

— На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан. А он придрался... С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился...

— Ты уж какой-то... шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с имя сделаешь? Они — начальство...

— Ну и что?

— Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах — скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

— Где и смолчать надо, парень, — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. — Наше дело такое.

— Да я особо-то не лаюсь, — неохотно откликнулся Иван. — Так — если уж прицепится какой... Главное, я же правила-то не нарушал! — опять горько воскликнул он. — За стакан вина да за кружку пива — на год лишил прав... Паразит.

— Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

— Зачем?

— У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

— Там, — сказал он, — в дальнем углу. Сюда — ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного ботуну. И стакан.

— Что ж ты сразу не сказал? — заторопился Иван. — Сидит помалкивает!.. — Он налил стакан и одним духом оглушил. — Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, — долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил ботуном.

— Как бензин, верно?

— Самогон как самогон. Какой бензин? Хреновину городишь какую-то.

— Ну вот! — Иван хлопнул себя ладонью в грудь. — Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? — Протянул пачку «Памира».

Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

— Петька-то пишет?

— Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика.

— Брось ты!..

— Хошь брось, хошь положь... на месте будет. — Старик говорил спокойно.

— Болит, что ль, чего?

— Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

— Брось! — сказал он. — Поживешь. Гармонь, что ль, принесть?

— Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом... И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

— Мать, — сказал он. — Жалко вообще-то...

— Все жа ехать хошь?

— Ну а что делать-то? — Иван, видно, только что так и говорил с матерью. — Не могу же я на этот... Да ну — к черту совсем! Я Северным морским путем прошел... Я моторист, слесарь пятого разряда... Ну ладно, год не буду ездить, но неужели... Да ну — к черту! — Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. — Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка... А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? — Он часто рассказывал, как он женился.

— Пошто в Ленинград-то?

— Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то — черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

— К ей теперь поедешь?

— К жене?! Она второй год замужем... Молодая красивая кыса.

— А куда?

— К корешу одному... На шахты. Может, не на все время. Может, на год.

— На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

— Ну а что я тут буду делать-то?! — опять взвился Иван. — На этот идти, на... Да ну — к черту! — Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать — как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,
Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходит женщина
Д от меня.
Напугалась, лапушка?
Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

— Сам сочиняю, — сказал Иван. — На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться —
В профиль и анфас;
В золотой оправушке...

— Баламут ты, Ванька, — сказал старик. — Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике... Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Ива́н перестал играть, долго молчал.

— Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что, им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею... Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К Восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: а я-то зачем здесь? Самое же дурацкое дело! Ну, видел — и все. Измучился, пока суд шел. — Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал. — Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?» Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни, — сказал он и сплюнул. — Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал, — негромко заговорил он. — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался... А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...

— Заелись, — пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка, — попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. — Сороконожки, — вдруг зло сказал он. — Суетитесь на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. «Разма-ах»! А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки сделает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отваливали — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег, — словно подзадоривая старика, сказал Иван. — Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету.

Ходишь как побирушка... Не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти... Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх... работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить...

— Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает... Где же смысл?

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед, — вздохнул Иван.

— Где нам!

— Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на... —

пропел он.

Старик усмехнулся.

— Обормот. Жена-то пошто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так... — Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до того будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю: то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают... Веришь, нет: ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — Старик покачал головой. — Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать. И со-

всем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

— Может, я схожу к директору-то, попрошу?.. — заговорила мать.

Иван брился.

— Еще чего! В ноги упади — он довольный будет.

— Ну а как жа теперь? — Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней — понимала: разговор, наверно, последний. — Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет...

— Я ходил. Просил.

— Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете.

— Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько, и запричитала:

— Куда вот собрался? К черту на кулички... То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто же, сынок, только про себя думаешь?.. Про матерей-то пошто не думаете?

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже. И оттого он хмурился раньше времени.

— Да что ты меня... на войну, что ли, провожаешь? Что я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно — слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

— Сходила ба, попросила — не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи... Што уж сразу так — уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил... С людьми поговорить надо...

— Они уж в милиции, права-то. Поздно.

— Ну и в милицию съездил ба...

— Хо-о! — изумился Иван. — Ну ты даешь!

— Господи, господи... Всю жись вот так. И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли...

Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот... Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами... А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе, хоть немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

— Ну! — Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол.

— Ну, поработал ба на свинарнике...

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

— Ни под каким лозунгом, — твердо сказал Иван. — Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать... Только у него ничего не выйдет.

— Господи, господи...

...Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

— С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

— Может, схожу, сынок? — Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние. — Упрошу его... Он хороший мужик.

— Мам... Мне же тоже тяжело!

— А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул... Счас, отдали так-то.

— Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его

трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо говорить, хоть Иван давно уж запомнил слова.

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

— Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

...И пошли по улице: мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то... уезжает, што ль, куда?»

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий.

Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

— Поехал?

— Поехал.

Закурили.

— Рыбачил, что ль?

— Попробовал поставил перемётишки... Рано ишо.

— Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда поедет сын.

— Не пей там, — посоветовал дед. — Город — он и есть город — чужие все. Пообвыкни сперва...

— Что я, алкаш, что ли?

Еще постояли.

— Ну, с богом! — сказал старик.

— Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

— Мам... иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее... Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

— Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так... Ничего со мной не случится! Не ездют, что ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его... И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

— Пошел! — сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

— Дик! Дик! — позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно посмотрел на хозяина.

А подальше стояла мать...

«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет», — думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице — к автобусу.

А мать все стояла... Смотрела вслед ему.

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги... Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, господи!..

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.

— Мать... А мать! — позвал он старуху свою. — Это... помираю вить я.

— Господь с тобой! — воскликнула старуха. — Кого там выдумываешь-то лежишь?

— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко. — Старик лежал на печке. — Сними, ради Христа.

— Одна-то я рази сниму. Сходить нешто за Егором?

— Сходи. Он дома ли?

— Даве крутился в ограде... Схожу.

Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.

«Зимнее дело — хлопотно помирать-то», — подумал старик.

Пришел Егор, соседский мужик.

— Моро-оз, язви его! — сказал он. — Погоди, дядя

Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чего, хуже стало?

— Совсем плохо, Егор. Помираю.

— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.

— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?

— Градусов пятьдесят есть. — Егор закурил. — А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но кого там!

— Может, подвалит ишо.

— Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем...

Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-то... Вот так! Легкий-то какой стал!

— Выхворался...

— Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше.

Старика положили на кровать, накрыли тулупом.

— Может, папироску свернуть? — предложил Егор.

— Нет, неохота. Ах ты, господи, — вздохнул старик, — зимнее дело — помирать-то...

— Да брось ты! — сказал Егор серьезно. — Ты гони от себя эти разные мысли. — Он пододвинул табуретку к кровати, сел. — Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — каюк. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?» Так что лежи и думай: «Буду жить!»

Старик слабо усмехнулся.

— Дай разок курну, — попросил он.

Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

Егор хохотнул коротко.

— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.

— Везде... Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.

Помолчали все трое.

— Ну, пойду я, дядя Степан, — сказал Егор. — Скотинёшку попоить да кóрма ей задать...

— Иди.

— Вечерком ишо зайду попроведую.

— Заходи.

Егор ушел.

— Слабость-то, она отчего? Не ешь, вот и слабость, — заметила старуха. — Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то... А?

Старик подумал.

— Не надо. И поисть не поем, а курку решим.

— Да бог уж с ей, с куркой! Не жалко ба...

— Не надо, — еще раз сказал старик. — Лучше дай мне полрюмки вина... Может, хоть маленько кровь-то заиграет.

— Не хуже ба...

— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.

Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.

— Гляди, не хуже ба...

— Да когда с водки хуже бывает, ты чо! — Старика досада взяла. — Всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то...

— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха. — «Сундуки»... Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться-то.

— Доктор... Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул — и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется.

Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:

— Старик... А, не приведи господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?

Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, чтоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить». — Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.

— А Петьке чего сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.

— Петьке?.. Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.

— Может, сварить бульону-то? Егор зарубит...

— Не надо.

— А чего, хуже становится?

— Так же. Дай отдохну маленько. — Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.

— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра исделал... Курку своей Михеевне задарма сунешь... Лучше эту курку-то Егору отдай — он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?

— Найдутся небось...

— «Найдутся». Будешь потом по деревне полоскать — кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело... Что бы летом-то!

— Да ты чо уж, помираешь, что ли! Может, ишо оклемаисся.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи, господи!.. — Старик вздохнул. — Господи... тяжко, прости меня, грешного.

Старуха опять всхлипнула.

— Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил: «Не думай всякие думы».

— Много он понимает! Он здоровый как бык. Ему скажи: не помирай — он не помрет.

— Ну, тада прости меня, старик, если я в чем виноватая...

— Бог простит, — сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...

— Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня... я маленько заполошный был... А хлеб-то — рясный-рясный!... А погляди-ко в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон!.. — Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы — в перед-

ний. — Вон же она, — сказал он, — вон... Сидит, гундосая.

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...

Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону.

— Да, — сказал он, — чуял он ее.

ДАЕШЬ СЕРДЦЕ!

Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом... Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул:

— Даешь сердце!

Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.

Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин.

Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет пятидесяти, полный, рыхлый... Ходил, однако, скоро. И смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не правилось, что он — одинок. Почему одинок, никто не знал, но только это нехорошо — в пятьдесят лет ни семьи, никого.

И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце.

Недоумевали.

В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным, обветренным лицом участковый милиционер.

— Здравствуй, товарищ Козулин!
Козулин удивленно посмотрел на милиционера.
— Здравствуйте.
— Надо будет... это... проехать в сельсовет. Протокол составить.
Козулин виновато поискал что-то глазами на полу...
— Какой протокол? Для чего?
— Что?
— Протокол-то зачем? Я не понял.
— Стреляли вчера? Вернее, ночью.
— Стрелял.
— Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет это... побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ль, кого?
— Да нет... Победа большая в науке, я отсалютовал.
Участковый с искренним интересом, весело смотрел на фельдшера.
— Какая победа?
— В науке.
— Ну?
— Я отсалютовал. А что тут такого? Я — от радости.
— Салют в Москве производят, — назидательно пояснил участковый. — А здесь — это нарушение общественного порядка. Мы боремся с этим.
Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим показал, что он готов ехать объясняться.
У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской.
Предсельсовета ждал их.
— Это, оказывается, ночью-то, салют был, — заговорил участковый и опять весело посмотрел на Козулина. — Мне вот товарищ Козюлин объяснил...
— Козулин, — поправил фельдшер.
— А?
— Правильно — Козулин.
— А какая раз... А-а! — понял участковый и засмеялся. И тяжело сел в большое кожаное кресло. И вынул из планшета бланк протокола. — Извиняюсь, я без умысла.
Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил правой рукой ремень гимнастерки (из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза), пригласил фельдшера:
— Садись, товарищ Козулин.
Козулин тоже сел в глубокое кресло.
— Так что случилось-то? Почему стрельба была?

— Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, — торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали — что дальше? — От мертвого человека — живому, — досказал Козулин.

У участкового вытянулось лицо.

— Что, что?

— Живому человеку пересадили сердце мертвого. Трупа.

— Что, взяли выкопали труп и...

— Да зачем же выкапывать, если человек только умер! — раздраженно воскликнул Козулин. — Они оба в больнице были, но один умер...

— Ну, это бывает, бывает, — снисходительно согласился председатель, — пересаживают отдельные органы. Почки... и другие.

— Другие — да, а сердце впервые. Это же — сердце!

— Я не вижу прямой связи между этим... патологическим случаем и двумя выстрелами в ночное время, — строго заметил председатель.

— Я обрадовался... Я был ошеломлен, когда услышал, мне попалось на глаза ружье, я выбежал во двор и выстрелил...

— В ночное время.

— А что тут такого?

— Что? Нарушение общественного порядка трудящихся.

— Во сколько это было?—строго спросил участковый.

— Не знаю точно. Часа в три.

— Вы что, до трех часов радио слушаете?

— Не спалось, слушал...

Участковый многозначительно посмотрел на председателя.

— Какая это Москва в три часа говорит? — опять спросил он.

— «Маяк».

— «Маяк» всю ночь говорит, — подтвердил председатель, но внимательно смотрел на фельдшера. — Кто вам дал право в три часа ночи булгатить село выстрелами?

— Простите, не подумал в тот момент... Я — шизя.

— Кто? — не понял милиционер.

— Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю самоконтроль. — Фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза — пальцами. — Ширво коло ширво... Зубной порошок и прочее.

Милиционер и председатель недоуменно переглянулись.

— Простите, — еще раз сказал фельдшер.

— Да мы-то простим, товарищ Козулин, — участливо произнес председатель, — а вот как трудящиеся? Им, некоторым, вставать в пять утра. Вы же человек с образованием, вы же должны понимать такие вещи.

— Кстати, — по-доброму оживился участковый, — а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа-то, — вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили.

— Не смейте так говорить! — закричал вдруг фельдшер. И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: — Зачем вы так?

Некоторое время все молчали. Первым заговорил председатель:

— Горячиться не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили, все мы, в конце концов, животный мир, важно само достижение. Тем более что это произошло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще раз говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время — грубое нарушение покоя. Мало ли еще будет каких достижений! Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с дровами?

Фельдшер растерялся от неожиданного вопроса.

— Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо. — Фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой выкрик. Он посмотрел на участкового: — Простите меня — не сдержался...

Участковый смутился:

— Да ну, чего там...

Председатель засмеялся.

— Ничего. Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон.

— Но кто забу-удет, — шутливо погрозил участковый, — тому два долой! Протокол составлять не будем, но запомним. Так, товарищ Козулин?

— При чем тут протокол, — сказал председатель. — Интеллигентный товарищ...

— Интеллигентный-то интеллигентный... а дойдет до наших в отделении...

— Мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин, — сказал председатель. — Идите работайте. Заходите, если что понадобится.

— Спасибо. — Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к выходу.

На пороге остановился... Обернулся. И вдруг сморщился, закрыл глаза и неожиданно громко — как перед батальоном — протяжно скомандовал:

— Рр-а-вняйсь! С'ирра-а!

Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо:

— Опять нашло... До свиданья. — И вышел.

Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалился в кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице.

— У нас таких звали: контуженный пыльным мешком из-за угла, — сказал он.

Председатель тоже смотрел в окно.

Ветфельдшер Козулин шел, как всегда, скоро. Смотрел вниз.

— Ружье-то надо забрать у него, — сказал председатель. — А то черт его знает...

Участковый хэкнул.

— Ты что, думаешь, он правда «с приветом»?

— А что?

— Придуривается! Я по глазам вижу...

— Зачем? — не понял председатель. — Для чего ему? Сейчас-то?..

— Ну, как же — никакой ответственности. А вот спроси сейчас справку — нету. Голову даю на отсечение: никакой справки, что он шизя, — нету. А билет есть. Ты говоришь: ружье... У него наверняка охотничий билет есть. Давай на спор: сейчас поеду, проверю — билет есть. И взносы уплачены. Давай?

— Все же я не пойму: для чего ему надо на себя наговаривать?

Участковый засмеялся.

— Да просто так — на всякий случай. Мало ли — коснись: что, чего? — я шизя. Знаем мы эти штучки!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЬ-СТАРУШКА...

А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее — супружница.

Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из

мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече... Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой от роду) «смотрели» куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину — суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, немолодой уж... Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая «смотреть» куда-то в даль, одному ему ведомую, начинал...

Песен он знал много. И все они были — про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев... Знал он и «божественные», но за этим следили «сельсоветские». А если никого из «сельсоветских» близко не было, его просили:

— Гань, про безноженьку.

Ганя пел про безноженьку (девочку), которая просит ласкового боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну — хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках...

Бабы плакали.

Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая.

Пел Ганя про «сибулонцев» (заключенных сибирских лагерей) — как одному удалось сбежать; только он сбежать-то сбежал, а куда теперь — не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим.

Пел про «синенький, скромный платочек»...

Слушали затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни.

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла.

Оттого, что Ганя все «смотрел» куда-то далеко и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее — передач-

ка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока...

Передайте передачку,
А то люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много —
Сильно с голоду морят.

Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали — и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтоб передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее, эту передачку — хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко. Но...

Ей привратник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет.
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».

Горло сжимало горе. Завыть хотелось... Ганя понимал это. Замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом:

Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла...
И никто про то не знает —
На душе что понесла.

Как же не знали — знали! Плакали. И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все «смотрел» в свою далекую, неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий душу.

Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые... Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли — как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так — из жалости, что человек — слепой, и ему надо как-то кормиться. А потом и совсем: вызвали Ганю в сельсовет и сказали:

— Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше.

Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя... Сказал:

— Спасибо нашей дорогой Советской власти.

И ушел.

Но и тогда не перестал он ходить, только — куда подальше, где еще не «провели» это «вшивое радиво».

Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали.

— Ты, дядя... шибко уж на слезу жмешь. Ты б чего-нито повеселей.

— Жиганье, — обиженно говорил Ганя. — Много вы понимаете!

И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной дальше... Но дальше — не лучше.

И Ганя перестал ходить.

Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки.

— Глот! — кричала Матрена. — Ты вот ее пропьешь, пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?

— Закрой варежку, — предлагал Ганя. — И никогда не открывай.

— Я вот те открою счас шумовкой по калгану!.. черт слепошарый.

Ганя бледнел.

— Ты мои шары не трожь! Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это.

Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь: на свадьбу поиграть — отказывался.

— Я не комик, чтоб под пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть — под их и пляшите.

Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена сбегала, пожаловалась), заикнулись:

— Вы знаете, есть ведь такое общество — слепых...

— Вот и записывайтесь туда, — сказал Ганя. — А мне и тут хорошо. А этой... моей... передайте: если она ишо по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю.

— Почему вы так?

— Как?

— Вам же лучше хотят...

— А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я... губошлеп уродился, что себе добра не хочу. Вы мне пензию плотите — спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чего мне в тем обчестве делать? Чулки вязать да радиво слушать?.. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон.

...Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже...

Приехали из города какие-то люди — трое, спросили:

— Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?

Ганя насторожился.

— А зачем? В обчество звать?

— В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам сказали...

— Ну, так?

— Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать...

— А зачем? — пытал Ганя.

— Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не должны умирать...

Догадался же тот городской человек сказать такие слова!.. Ганя встал, заморгал пустыми глазами... Хотел унять слезы, а они текли, ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать.

— Вы споете нам?

— Спою.

Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ремень на плече. И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и прекрасное.

Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный, погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая, — никто в этот будничный, рабочий день не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня — праздник.

Пришла с огорода Матрена.

Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин... С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами — приготовились слушать Ганю.

— Сперва жалобные или тюремные? — спросил Ганя.

— Любые.

И Ганя запел... Ах, как он пел! Сперва пел про безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и «смотрел» вдаль.

— А что-нибудь такое... построже... Нет, это тоже хорошая! Но... что-нибудь — где горе настоящее...

— Да рази ж это не горе — без ног-то? — удивился Ганя.

— Горе, горе, — согласились. — Словом, пойте, какие хотите.

Как на кладбище
Митрофановском
Отец дочку родную убил, —

запел Ганя. И славно так запел, с душой.

— Это мы знаем, слышали, — остановили его.

Ганя растерялся.

— А чего же тогда?

Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать все, двое ему возражали: зачем?

Ганя напряженно слушал и все «смотрел» туда куда-то, где он, наверно, видел другое — когда слушали его и не спорили, слушали и плакали.

— А вот вы говорили — тюремные. Ну-ка тюремные.

Ганя поставил гармонь рядом с собой. Закурил.

— Тюрьма — это плохое дело, — сказал он. — Не приведи господи. Зачем вам?

— Почему же?!

— Нет, люди хорошие, — будет. Попели, поиграли — и будет. — И опять жесткая строптивость сковала лицо.

— Ну просют же люди! — встряла Матрена. — Чего ты кобенисся-то?

— Закрой! — строго сказал ей Ганя.

— Ишак, — сказала Матрена и ушла в огород.

— Вы обиделись на нас? — спросили городские.

— Пошто? — изумился Ганя. — Нет. За что же? Каких песен вам надо, я их не знаю. Только и делов.

Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли.

Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.

— А чего, правда, заартачился-то? — поинтересовался он. — Спел ба, может, больше бы дали.

— Свиней-то вырастил? — спросил Ганя после некоторого молчания.

— Вырастил, — вздохнул Егор. — Теперь не знаю, куда с имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада — разрешили: давай по пять штук! А куда теперь? На базар — там без меня навалом, не один я такой...

Егор закурил и задумался.

— Эх ты, поросятинка! — вдруг весело сказал Ганя. — На-ка трешку-то — сходи возьми бутылочку. За здоровье свинок твоих... и чтоб не кручинился ты — выпьем.

«РАСКАС»

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах — бежала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку — как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это — правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла... Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог — не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем.

Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокатрехлетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам — всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. «Ну а как же?!» — говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше... И молчал. «Не в этом дело, — думал он, — что я тебе, политрук!» И вот — нá тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером — помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало — противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

Значит было так: я приезжаю — настоле записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главно я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожая она прямо щастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он па Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиономии. Да мало ли красивых — все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх вы!.. Вы думаете еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог ба поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и

промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глидят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на ее тратила — учила. Ну, и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об нём слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову потиряла... Я бы как нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ее лехко но снова складать трудно. А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже ни укладываится в голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубога слова никогда не сказал. И вот пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже — не каменый.

С приветом
Иван *Петин*. Шофер I класса.

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встре-

чал ее с репетиций. А иногда провожал на репетицию.

Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже у́трами, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце... Наступила... А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

— Агеев здесь? — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

— Здесь. Вы к нему?

— К нему... Мне надо тут по одному делу. — Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось кому-нибудь рога надстроила — веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

— Пройдите, пожалуйста.

Редактор — тоже веселый, низенький... Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

— А?! — воскликнул он и показал на окно. — На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

— Нет. — Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

— Я в субботу хочу попробовать. — Редактора все не покидало веселое настроение. — Или не советуете? Просто терпения нет...

— Я раскас принес, — сказал Иван.

— Рассказ? — удивился редактор. — Ваш рассказ? О чем?

— Я тут все описал. — Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее... Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него.

— Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

— Лучше бы сейчас...

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него жена тоже на репетиции ходит. А ему хоть бы что — пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

— Ах, славно! — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик.

— Чего славно? — спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

— Простите... Это вы — о себе? Это ваша история?

— Моя.

— Кхм... Извините, я не понял.

— Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы «трубочкой». Он дочитал.

— Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

— Ну да.

— Но это нельзя печатать. Это не рассказ...

— Почему? Я читал, так пишут.

— А зачем вам нужно это печатать? — Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. — Что это даст? Облегчит ваше... горе?

Иван ответил не сразу.

— Пускай они прочитают... там.

— А где они?

— Пока не знаю.

— Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

— Я найду их... И пошлю.

— Да нет, даже не в этом дело! — Редактор встал и прошелся по кабинету. — Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

— Им совестно станет.

— Да нет! — воскликнул редактор. — Господи... Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

— Может, она вернется.

— Нет! — громко сказал редактор. — Ах ты, господи!.. — Он явно волновался. — Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

— Подождите! — воскликнул редактор. — Ну давайте вместе — от третьего лица...

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях», «репетициях»... Собаки!

Он направился прямиком в чайную. Там взял полкило водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой — в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него... А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

ЧУДИК

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю.

— Да вот же все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами. — Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!.. — Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. — Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос: куда это он собрался? — Проветриться надо! — При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала:

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится?» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», — решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа, чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же, — сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему надо обязательно руками трогать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь?.. — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик. — Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За что? Ведь невзлюбила она тебя... А за что?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, что ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. а она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — подумал Чудик, — разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка. — Он хотел мира со снохой. — Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», — думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. — Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот... — сказал он. — Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а, тополя-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вот Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. — И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо

всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом под-

нимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга. Вот так — нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой... Пойдут трепать языком.

— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть. — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские... Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас — Ванька Пупков, —хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну, и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. — Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только... — Бронька шевелил губами — считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот

так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять, — в усики. Я делаю рукой: «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было... — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху... — Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает

безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай, — виновато и зло говорил сыну. — Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце — чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малось изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

ЗЕМЛЯКИ

Ночью перепал дождь. Погремело вдали... А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке.

Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина — предгорье. Выйдешь на следующий бугор — видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.

На «лбах» и «гривах» тра́вы — коню по брюхо. Внизу — согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет... Но ведь... что же? Тут сам не поймешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать? Ведь чего и жалко-то: прошел мимо — торопился, не глядел.

А выйдешь на свет — и уж жалко своей же грусти,

кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и — нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться.

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность — жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть.

Он ходил, ездил по этой дороге много — всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане — он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов, Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом — долго. Коровы тем временем зашли на клевер... Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: «Спасайте, они клевера обожрались!» Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в де-

ревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь выважили коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем... Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу.

Нет милее работы — косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, посвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла головку змея... И потекла по траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне — упал. И прямо задницей на нее, на змею. Неделю потом понóсило («гвоздем летело»).

Память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот — змеи... Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею — сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки — много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало — белое, мелкое, и много. Ребятишки орали: «Видишь! Вон они!» Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.

— Слава богу! — сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя,

когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба все льются и скользят серебряные жавороньи сверлышки.

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот — хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». А когда нам хорошо, мы не думаем: «А где-то кому-то плохо». Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.

«Как живые», — подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.

— Доброго здоровья, — приветствовал старик в шляпе. — Увидел — человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

— Чего ж? — сказал Анисим. — Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

— Жарко, да. — Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. — Жарковато.

«В добрых штанах-то... зеленые будут», — подумал Анисим.

— Хошь, садись со мной? — пригласил он.

— Спасибо, я поел недавно. — Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало. — Косишь?

— Надо. Нездешний, видно?

— Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

— Не похож?

— Пошто? Теперь всякие бывают. — Анисим захрумкал огурцом... И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. «Хочет, наверно».

— Подсаживайся, — еще раз сказал он.

— Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

— Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.

— У тебя газеты нету? — спросил Анисим.

— Зачем? — удивился гость.

— Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

— А-а... Да шут с ними. Ах, огурцы!..

— Што?

— Объеденье!

— Здешний, говоришь... Откуда?

— Тут, близко...

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест — не похоже действительно.

— Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

— А-а. Погостить?

— Побывать надо на родине... Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

— Лебяжье. Вот по этой дороге...

— Один со старухой живешь?

— Ага.

— Дети-то есть?

— Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

— Где эти трое-то? В городе?

— Один в городе, Колька. А девахи замужем... Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая — та подальше. — Не сказал, что другая замужем не за русским. — Была Нинка-то по весне... Ребятишки большие уж.

— А Колька-то в каком городе?

— Да он — и в городе, и не в городе: работа у его какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищут.

— А какой город-то?

— В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает... Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

— Спасибо. Хорошо поел.

— Не за што.

— Косить пойдешь?

— Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.

— Колька-то с какого года? — спросил еще гость.

— С двадцатого. — Тут только Анисим подумал: «А чего это он выспрашивает-то все?» Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.

— Вот так, земляк, — сказал.

«Чудной какой-то, — подумал Анисим. — Старый — чудить-то».

— Здоровьем-то как? — все пытал городской.

— Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.

— Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры...

— Нет, давно уж.

— Умерли?

— Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

— Погиб?

— Знамо. Пошто с войны не приходют?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка — ни малого дуновения — не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно... Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.

— Вот и прожили мы свою жизнь, — негромко сказал городской старик.

Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался: с еле уловимой насмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою так-то». Ласково.

— Не грустно, земляк?

— Грусти не грусти — што толку?

— Что-то должно помогать человеку в такое время?

— У тебя болит, што ль, чего?

— Душа. Немного. Жалко... не нажился. Не устал. Не готов, так сказать.

— Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.

— Есть же самоубийцы...

— Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри — не жилец. Пристал.

— И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что

отпущено было, давно все додумал. — Городской помолчал. — Жалко покоя вот этого... Суетился много. Но место надо уступать. А?

— Надо. Хэх!.. Надо.

— А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? — Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем — в смехе. — Чтоб так и осталось все. А?

— Надоест, поди.

— Да вот все никак не надоест!

— А ты зараньше-то не думай про ее — не будешь страшиться. А придет — ну, придет... Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.

— Да...

— Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь — тоже плохо. Расстройство одно.

— Вспоминаешь?

— Но.

— Это хорошо.

— Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

— Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

— Больше — детство.

— Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

— Брат у меня был, Гринька, тот прокуда был. — Анисим улыбнулся, вспомнив. — Откуда чего бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил...

— Что же он вытворял? — живо заинтересовался городской старик. — Расскажи-ка... Пожалуйста, пока отдыхаешь.

— Хэх!.. — Анисим покачал головой, долго молчал. — Шельма был. Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну — выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку его — куснешь, зеленый — в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чего придумал: взял пузырь свинячий — свинью как раз резали, — растер его в золе... Знаешь, как пузыри-то делают?

— Знаю.

— Вот. Высушил, надул, нарисовал на ём морду страшенную... — Анисим засмеялся. — Где он такую харю видал? Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько

к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот... Утром Егор открыл дверь-то — на улицу выходит, — а ему прям в лицо харя-то эта глянула... Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу орать: «Караул! У меня черт на крыльце!»

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся.

— Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

— Да, так Егора потом и звали: «Его́рка, черт на крыльце». А раз — мы уж побольше были — на покосе тоже... Миколай Рогодин — хитрый был мужик, охотник до чужого — и говорит вечером: «Гринька, говорит, подседлай какого-нибудь коня, хошь моёва, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота». Гринька, недолго думая, подседлал коня — и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же... Ну, и умели́ в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: «Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих».

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

— Поматерился же он потом!.. А што сделаешь? — сам послал.

— Да... — Горо́дской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.

— Ну, пойду с богом... — сказал Анисим. — Маленько, вроде, схлынуло.

— Жарко еще...

— Ничего.

— Корову-то обязательно надо держать?

— Как же?

Анисим взял литовку, продернул ее бруском. Поглядел на ряды кошенины — неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него... Внимательно. Грустно.

— Ну, пойду, — еще раз сказал Анисим.

— Ну, давай, — сказал городской. — Ну и... прощай. — Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к доро́ге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением — видно было — ждала его.

— К нам какой-то человек приезжал! — сказала она, едва старик показался в воротчиках. — На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?

Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой...

— В шляпе? Старый такой...

— В шляпе. В кустюме такой... Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только... неужели же?!

— Не Гринька ли был-то? Ты ничего не заметила?

— Господь с тобой!.. С ума спятил. С того света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души — не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова — верит; старой — скажи попробуй про самую свою нечаянную думу, — сам моментально дураком станешь.

— Уехал он?

— Уехал. Этто после обеда пошла...

«Неужто Гринька? Неужто он был?»

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий.

Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был...

«Неужто Гринька?»

Через неделю старикам пришла телеграмма:

«Квасову Анисиму Степановичу.

Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова».

Брат был. Гринька.

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий... Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло, — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, — я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел... Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил... — Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму... Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька... Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери...

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком — мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку...

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, — не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой бог, не буду.

— Ну смотри.

...И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем,

что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно... Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер — зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок — варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины... Не заводиться с превеликим трудом — так что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь — бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну, все?

— Все вроде...

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, — в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда: там горсть смородины на ходу слупишь, там вто-

ропях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку — по пояс... Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь... Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь...

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же — поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже... Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы... Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

...Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц... Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный... Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил... Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро! — бодрится папка. — Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Счас скажу, что приехали...

— Скорей там, — велит мама.

— Да скоро! Скажу только...

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале — хоть бы хны.

— Мам, мы тут жить станем?

— Тут, доченька... Заехали!

— Уговори ты его назад, домой, — советую я.

— Да теперь уж... Вот дура-то я, дура!

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка... С ним какой-то мужик.

— Здравствуйте, — не очень приветливо говорит мужик. — Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

— Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка... с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди... Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

— Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! — Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то — с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он, сколько влезет, — потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.

— Завез, да еще недовольный...

— Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

— Ну и не одергивай каждый раз парнишку!

— Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь...

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу — лягалась... Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице — группами — молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

— Не знаю, деда.

— А-а!.. — И начинает: — Интре... интренацал... — И потом только одолевает: — Ин-тер-на-ци-о-нал!

Мы покатываемся со смеху — мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается дедушка. — Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка... Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова — бор, это страшновато. Да и что там, в бору-то? — грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали... Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину.

Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату — посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут — сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она. — Дай-ка мне.

— Всю, что ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

— Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь... Услышали:

— Уже пакостúть начали? — С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. — Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный бог, не вру — я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая... Нехорошо так делать. Это — воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью...

Что-то я вконец растерялся... Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О какой! — удивилась хозяйка. — Хитрит еще. — И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Счас, давай только доедим, — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а — сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. — Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не

верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю... И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала — хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние...

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню... Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

ГОГОЛЬ И РАЙКА

В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом — другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром — пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дёрг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе — сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах — можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима! И воет и воет над крышей, хлопает плахами... Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и, кажется, вот-вот, еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригóн — тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А в пригоне — корова... Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу — от холода жгучего, в нестер-

пимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут — худо-бедно — согреешься, а она там стоит... И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза — прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка — это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может, бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать — лето, зиму и еще лето, — но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть что ждать.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо... Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами — она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше суетливое беспокойство.

— Вань, скоро?

— Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо... Приходит и говорит:

— Прямо близко уже... Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка-царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

— Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только... Детей пужаешь, дуреха! — Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

А теперь — еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость — неповторимая, большая — и зимой: в долгие вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то обра-

зом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи, и говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)... Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

— Уже прочитал?

— Прочитал.

— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше — еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания — книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали запор. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть

старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги — они не брали.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел, наконец, за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник — подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: оставит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных. Обожал также брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: отчесал за один присест и в сторону ее.)

С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал... Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты, господи! Гляди-ка! Вот ведь что на свете бывает!» — я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!»

— А что дальше, Вань? — вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывал дурой, мама строго говорила, что так не надо.

— А чего она!..

— Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай — ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

— Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

— Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники!.. Но это — правда, так было. Может, оттого, что — детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость — пусть малая, редкая — переживается острее, чище.) Это были праздники, которые я берегу — они сами сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

— Читай, читай! Что, уж зевнуть нельзя?

— Да ведь поспете сейчас!

— Не поснем. Читай знай.

Но я знаю — поснут. Читаю дальше... Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один — не то. Да и в сон тоже начинает клонить... И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно, и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

— «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему...»

Первой не выдержала мама.

— Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

— Давай, мам...

— Не надо, ну их... Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

— Гоголь. Но тут разные, а эта — «Вий».

— Господи, господи... Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать в кровати под одеялом), хоть бы он... Мы бы... я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

— Ты не бойся, сынок, спи. Книжка, она и есть книжка: выдумано все. Кто он такой, Вий?

— Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

— Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, — ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

— Так это же давно было! Может, он помер давно.

— Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек... Тебе же дедушка рассказывает разные истории? — рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам...

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

— Вот чего, — говорит она, — побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано — увидит, подберет. А жалко — добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

— Посижу, конечно.

— Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не

отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову, — чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет — затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют... И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса... Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла... Вот уж за скобку взялись... Я дернул одеяло на себя с головой — чтоб только не видеть... Господи, господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться... Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

— Спишь, сынок?

С сердца схлынул мглистый, цепкий холодок жути.

— Ты, мам? Ты чего скоро-то?

— Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести — навильник-то добрый... Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

— Спит. Я счас... Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу... Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот — переулочек. Тут — четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

— Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит...

— Если хороший навильник — раза на три хватит дать.

— Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то — стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здоро-о-вый навильник.

— А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

— Ну, тогда что ж... отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

— Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то... Сразу согреется. Сразу ей дадим?

— Знамо, сразу! Дармовое...

Ну вот она, старухина изба. У нее там — между избой и баней — есть такой закоулок... Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют — вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки... Сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку — как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут — черт ее вынес, проклятую, — собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается:

— Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

— Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

— Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

— Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка — точно большой, темный горб — подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас... Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

— Ешь, милая, ешь, — говорит мама. — Ешь, родимая. — И чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: — Ну, пошли, Вань, а то Талюха там... Дело сделали!

Таля спит! Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало... У меня и теперь не хватает духу рассказать все

подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь... Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях... Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку... Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или... бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами.

Вот... Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

ЖАТВА

Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15—16, он сидит «на машине» — на жнейке (у нас говорили — жатка). Я — гусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых — и, стало быть, машину — точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли — прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: вста-

ли чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб — сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

— Ванька, огрею!

Бичина у него длинный — может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

— Ванька!.. — Сашка тоже матерится. — Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

— Давай хоть пять минут поспим?! — предлагаю я.

— Еще три круга — и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

— А, Сань?!. А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

— Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной — успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски — и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я — сплю, я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал — так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только

издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем. — Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

— Отойди от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом... Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом,

строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила... Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.)

— Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается—никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое: они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: еслив ишшо кого увижу...

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного: мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блаженным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха.)

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеич. — С собакой маленько комедия вышла... — И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно: поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

Когда я — позже других, последним, наверно, — вы-

хожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку — хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом... Худая култышка както неестественно белеет на траве. Иван Алексеич часто склоняется и дует на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый, легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

БЫК

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке́, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя — веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится — хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул — бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз — после обеда — надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой, маленький мужик, орет на меня:

— Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополека́л все закоулки, все укромные места — нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу.

Нашел в просе — лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет,

как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него... Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься... Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит... Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), — сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо. Через пять минут, видим, летит наш бригадир сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

— Стреляйте в него! Стреляйте, чо вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет — у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, — кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо — не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда — бык за ним, Петрунька сюда — бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень — и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она, как ни странно, сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили... Привозили из деревни самогонку — и начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку — неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину... Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел — негромко, глухо, коротко, как вроде сказал:

«ой!» К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза... В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, — пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел — не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться — такой «рубон» не часто бывает.

САМОЛЕТ

Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум — в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в город. Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но — так, отдышаться... Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, — они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю, и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт — рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку — она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел — только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился — схватил нож... Тот, кто стоял против него — тоже с ножом, — очень удивился. И это-то — что он только удивился — толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться — мы защищались. Иногда — та́к вот — безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. А пока мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе — налегке — городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?

— Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

— Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!

Откуда она бралась, эта злость — такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там — ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку — так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял... самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было — можно подойти и потрогать. Раньше нам приходилось — редко — видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?» Ах ты, господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские — тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

— Кукурузник, сука.

— Сидит... Горючего, наверно, нет.

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы — действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было — он летал. И теперь он стоит у меня в глазах — большой, легкий, красивый... Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Пропустил па-

ру, вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся...

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну, — тоже просто и прямо ответила выпивоха, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что, — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не влетело в лоб Витьке, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем, поправься. — Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Они тут же, в уголке, раздавили бутылочку. Витька выпил полтора стакана, остальное великодушно навялил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже полегчало. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко, — кивнула девушка. — Спасибо, легче стало.

— Врезала вчера? — Витьке было легко и просто с девушкой, удивительно.

— Было дело.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет... В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

Они взяли бутылку белой и пару бутылок красного.

— У меня там еще подружка есть, — подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем, — решил он. — Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал. Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить. — Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой, — интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало, — здесь вот кипятком подмывало чего-то такое, — такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Не привязанный, а визжать будешь.

— Да я уж накобелился на свой век — хватит.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля», — всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Когда она улыбается, глаза не улыбаются, и это придает ее круглому личику необъяснимую прелесть — маленькая, усталая женщина. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то до боли охота стиснуть ее в объятиях, измять, куснуть ее припухшие, влажные губы.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радио-

лу не завел: без радиолы сердце млело в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке: «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула тугой грудью и другой рукой обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки. — Вот она — зараза кипучая, желанная. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго и мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту, губы ее мягкие, послушные... И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице — опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно, — бормотал он, — я вам устрою... Я вам тоже заделаю бяку.

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка осаденил ее, всю, до донышка, запустил бутылку в скверик... Ему какие-то подвыпившие мужики, трое, сказали:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька. — Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто ж тут, по-твоему?

— Суки!

Трое пошли на него, Витька пошел на трех... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— Наших бьют!

Еще налетело человек пять... Бляха заиграла, мягко, тупо шлепалась в тела. Еще двое-трое свалилось... Попадало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

— Каучук работали?! — орал он. — В цирке работали?!

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святы! — испугалась мать. — Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера тяжелая травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

— Батюшка, андел ты мой господний, — взмолилась мать, — помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже наверняка завели дело.

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не станут спрашивать — по пьянке он или не по пьянке. Милиционера изувечил... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, андел ты наш, вот спасибочко-то.

— Да не за что.

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витьки родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в сорок втором году), старший сын ее тоже погиб на войне в сорок пятом году, девочка умерла от истощения в сорок шестом году, следующие два сына выжили, мальчиками еще, спасаясь от великого голода, ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, осталась нищей, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово: тот правда лежал в больнице и был очень слаб. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной страшной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще не ребром угодил.

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени и завыла, и запричитала:

— Да анделы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубашку отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтобы мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке: — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь — простить. Ведь он же трех человек, можно сказать, инвалидами сделал, действительно. А одного — при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала. — Да нешто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что с чужу становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ тертый, до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать.

— Один он у меня — при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А ишо вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко...

— Он зачем в город-то приезжал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили — где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки-святы! — испугалась мать. — А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него! Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку...

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — Начальник набрался твердости. — Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да анделы вы мои, люди добрые, — опять взмолилась мать, — пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник. — Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же — не кум с кумом поцапались, это — покушение на органы!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит, — посоветовал один из присутствующих.

— Мельников, проводи ее до прокурора, — велел начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, што, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, што вот говорю — а кажное слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы — оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли — обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить. Он поднял руку на представителя власти — эт-то...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Теперь другая установка. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть, а другие — задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что — как же теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку возьмут с руками-ногами — хорошая девка. Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — поймал прокурор мать на слове. — Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А братья и сестры смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там, разумеется, не курорт, и поедет он туда, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны. Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд. Все.

Мать поняла, что и этот невзлюбил ее сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. — посерьезнел прокурор. — Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока несужденый, потом чижельше будет...

— Скажи этим добрым людям, что они — не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да кто?.. Люди.

— Ну, ехай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце. Но она обиделась на прокурора, а поэтому виду не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно, — сразу согласился прокурор. — У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло. Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она вызволит сына, она верила в это, верила. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Она давно могла отчаяться, но неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, у них зачерствело на душе от злости, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут! Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне — что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей, найдет.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать, — слукавила мать. — А вот — на свиданку. — Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... Сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать, — спросил один мордастый, — тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

— Егоров, — строго сказал длинный милиционер остряку, — в обед — драить служебные помещения.

Теперь уже заржали над остряком.

— Вот ты-то схлопотал!

— Ваня, ишо раз советую, отруби ты себе язык! — посоветовал один. — Перетерпи раз, зато потом всю жизнь проживешь без горюшка.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один в камере, хоть камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах. Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры, — предупредил длинный. И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка, под землей, а сухо, тепло, — сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой его тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за них затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали, — стыдно. Две шлюхи... Стыдно, мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы — ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали. Бюллетень возьмет...—Витька посмотрел на мать.—Лет семь заделают.

— Батюшки-святы!.. — Сердце у матери упало. — Што же уж так много-то?

— Милиция... С этими бы я договорился. Сала бы опять продал — сунули бы им, до суда дело не дошло бы.

— Да што милиция? Не люди, што ли?

— Тут — если он даже сам не захочет, за него по-

дадут. Семь лет!.. — Витька вскочил с нар, заходил по камере. — Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какая сила гнетет душу ее ребенка: та самая огромная, едкая сила — отчаяние, что делает в душе вывих, заставляет браться за веревку или за бритву. Злая, могучая сила.

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором. — Сразу — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно.

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была.

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкипет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому што — наш человек-то, не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, да не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святы! Нагрели руки.

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас, — заторопилась мать. — Мы уж все обговорили. Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карактеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там.. это у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай.

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму карактеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок с собой — может, кого задобрить придется?
— Не надо, хуже только наделаешь.
— Ну, погляжу там.
В дверь опять заглянул милиционер.
— Время.
— Пошла, пошла, — опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо. — На-ка, поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала — а она уж слыхала...
— Ну?
— Горюет.
У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста — горюет. Как-то так, не потеплело.
— А ишо вот чего... — Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Скажи: господи-батюшка, отец небесный, помоги мне! Подумай так, подумай — попроси. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-Угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивются. Похоронку от отца возьму...
— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.
— Не буду, не буду — кого они сделают? Только лишний раз душу растревожут. Ты, главно, не задумывайся — что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь, они через полгода выходют. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.
Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.
— Время, время...
— Пошла. — Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:
— Спаси тебя Христос.
И вышла из камеры. И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь

людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать — действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка, — твердила она в уме беспрерывно. — Помоги, господи, рабе твоей Анне. Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный — как бы не сделал чего над собой. Помоги, господи! Укрепи нас!»

Поздно вечером она села в поезд и поехала. Впереди — краевые организации. Это не страшило ее.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, помогут.

МИКРОСКОП

На это надо было решиться. Он решился.

Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:

— Это... я деньги потерял. — При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. — Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Дак если б я знал, я б пошел и...

— Ну, не-ет!! — взревела она. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за сковородником. — Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате...

— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..
— По рукам, слушай!..
— От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!
— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.
— Садись!
— Тебе же хуже...
— Пускай!
— Ой!
— От так!
— Ну, будет?
— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел... — Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась...
Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:
— Ох, да за што же мне долюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..
— Где это они у тебя рваные-то ходют? — не вытерпел он.
— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.
— Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он.
— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?
— Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе...
— Ну, может, заходил к кому, скважина?
— Ни к кому не заходил.
— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол... Беги, они пока ишо отдадут.
— Да не заходил я в ларек!

— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

— Откуда я знаю?

— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки... Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина...

— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина...

— Кто же ты?

— Што теперь сделаешь?

— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь... Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца...

— Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.

— Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

— В две смены работать и — пешком? Ловко...

— Пешком! Пешком — туда и назад, скважина! А где, так ино побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. — Я уж с мастером договорился... — Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: — Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

— Ну-ка дай сберегательную книжку, — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: — Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно.

И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу, — никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание... На него обратили внимание.

— Чего эт ты, как... голый зад при луне, светисся?

— Вот... дали за ударную работу. — Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец, открыл. И выставил на стол... микроскоп. — Микроскоп.

— Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

— Луну будем разглядывать! — И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

— Чего вы? — обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.

— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды... Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?

— Пошел ты!!.

— Нет, ты ответь.

— Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

— Воду она пьет!.. Ну не дура?..

— Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску! — Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

— Гляди суда! — закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.

— Пап!..

— Вот они, собаки!.. — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают.

— Ну, пап!

Отец дрыгнул ногой.

— Туда-суда, туда-суда!.. Ах, собаки!

— Папка!

— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил

место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

— Ну?

Сын молчал.

— Ну?!

— Вот они! — заорал парнишка. — Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

— Гляди! Воду она пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазом, другим...

— Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие...

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

— Вон, однако... — Может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

— Твою мать, што делают! Што делают!..

— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына. — Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. — Жиринки... Сама ты жиринка. Ветчина целая. — Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

— Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

— С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

— Не меньше. А мы их — ам! — Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. — И — нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

— Небось сам выпросил? — Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. — Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.

Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

— Не помешайся, — сказала жена, — тебе ведь немного и надо-то — тронешься.

— Скоро начну открывать, — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. — Ты с ученым спала когда-нибудь?

— Еще чего!..

— Будешь. — И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. — Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил, как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал... Косился на микроскоп.

— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.

— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. — Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организьм у ребенка!

— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.

— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой

соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу...

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

— Давай спробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце... Склонился к трубке и застонал.

— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. — Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат!

— Кто? — не понял сын.

— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.

— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

— Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх, вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень?!

— Вшу видно, а этих... Как ты их?

Отец долго думал.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

— Водка в кровь, что ли, поступает?

— А куда же? С чего же дуреет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и закоптачим. Посмотрим, как тогда они будут...

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею — просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.

— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..

«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

— Как хочешь.

— Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

— Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить — и нечем, не соберемся никак купить.

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...

Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

— Какую премию?

— Ну премию-то вам давали!

— Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...

— Вам премию выдавали?

— Жди, выдадут они премию! Догопют да ишо раз выдадут. Премию...

— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу... — Голос супруги Ериной упал до жути — она все поняла.

— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

— У тебя три рубля есть? До получки...

— Есть... Ты за што меня ударил?

— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х... Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.

— Где она? — спросил сынишку.

— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ругалась?

— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не поймешь...

— Понимаю: она продаст его.

— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо: зима скоро. Учись, Петька! — повысил голос Андрей. — На карачках, но ползи в науку — великое дело. У тя в копилке мелочи нисколь нету?

— Нету, — сказал Петька. Может, соврал.

— Ну и ладно, — согласился Андрей. — Учись знай. И не пей никогда... Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого.

Андрей посидел еще, покивал грустно головой... И пошел в горницу спать.

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ

Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа».

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — нимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает, сколько? Много небось.

— Много. — Макар тоже точно не знал сколько. — И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все — зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, — миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихное-то положение.

Старухи обижались. Старики посылали Макара... дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну, как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакый!

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сражаться? Конинную. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело?

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово доходчивое...

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше, и сердце его сосала, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердца всех оскорбленных проповедников.

Иногда дело доходило до оплеух.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел — Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был — Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете, — в консервах, так как климыт здесь суровый».

Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей... И те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Иванов-то нынче осталось — ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накоттился — почуял добычу.

— Спокойно, Иван, — сказал он хозяину. — Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — «Ваня-дурачок», допустим, а ты ей — «несмышленыш мой» или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрепись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам — твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют и деньжат нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали, это бо-оль-шое уважение. За уважение люди тоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда, гад подколодный! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах, пошуметь бы?.. Ах, бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты. Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад.

— За совет!

Макар пошагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и шептал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У него свояк в Магадане — Митрий...

Но Макара не хотели слушать — некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку-две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил.

— Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тьфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего, — выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий, — бормотала она, — ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то?

— Человека — пока не стукнет, до тех пор он не пой-

мет, — говорил сам с собой Макар. — На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно — не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Дак ведь возьмут да выгонют.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать — на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклимается — молодой. Мне этой самому — только-только.

— Жадный.

— Нет, — просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? — чего она у тебя все время хворает?

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной? — искренне интересовался Макар.

— Ну как же? Подошло воскресенье — ты сидишь

день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... хозяйство-то?

— Вот то́ и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба ишо... Поживешь. Работа — не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед. — Неужель не совестно? На тебе же пахать надо, а ты...

— Ни па вот эстолько. — Макар показывал кончик мизинца.

— А пошто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар глубокомысленно думал, глядя в улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.

— Не для этой я жизни родился, дед... Для этой, но гораздо круче умом замешан.

— Для какой же ты жизни?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота помочь советом каким-нибудь. Потом раздумаешься: да пошли вы все!.. Как жили, так и живите — кроты.

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, — гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерьва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Да и учил бы одному чему, а то, как...

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, они меня по матушке. А то и — по загривку. Ванька вон Соломин... так и пустил с крыльца.

— Ххэ!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы — назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется —

будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то на Севере тыщи ворочает... А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стервa ты, — говорил беззлобно. — Путаешь людей.

— Что, пошел?

— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

— Спасибо, что выручил.

— Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

— Вот ведь сколько домов!.. — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — оё-ёй сколько!..

— Много, — соглашалась жена.

— Много, — вздыхал Макар. — Много. Где же всем поможешь! Завязнешь к чертям... Или — пристукнут где-нито насовсем. А все же жалко, дураков...

СВОЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее — Сергеем; Сергей Сергеевич, так он представился, смуглый, курносый, с круглыми, бутылочного цвета глазами.

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в горницу и унесли туда чемоданы.

— Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать, — сказал Сергей Сергеич снисходительно, но не без гордости — тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, этот — сорокалетний — гордился со смаком.

Свояки закурили.

— На сколь? — спросил Андрей.

— У нас отпуск большой, мы же — льготники. — И опять гордость, высокомерие. Живого места нет на человеке — весь как лоскутное одеяло, и каждый лоскут — кричит и хвалится. — На особом положении.

— На каком таком особом?

— В смысле зарплаты и отпуска.

— Что, очень большая зарплата?

Свояк Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андрея.

— У меня, например, выходит до четырехсот.

Свояк Андрей удивился:

— Ого-го!

— Сколько у вас тут профессор получает?

— Где?

— Ну, здесь, на Большой земле.

— А я откуда знаю сколько.

— Самый высокооплачиваемый профессор получает пятьсот рублей. Максимум.

— Ну. И что?

— А я пять классов кончил, шестой коридор...—Свояк Сергей Сергеич опять посмеялся. — Вот так и живем.

— Значит, хорошо. Это хорошо.

— Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно?

Андрей пожал плечами.

— Так... а чего, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно.

— Не скажи. Я говорил своей: поедем в Ялту! Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетерпеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях: в магазине ничего нет... Сейчас по дороге зашел в ваш магазин. «Дайте, говорю, шампанского». Она на меня — как баран на новые ворота: «Какого шаньпанскыва?» — «Ну, обыкновенного, говорю: сухого, полусухого, сладкого, полусладкого... Какое у вас есть?» — «Никакого». Вина хорошего и то нет. Одна сивуха.

Андрей поднялся.

— Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, протопить?

— Баню — это хорошо. У вас по-черному?

— По-черному.

— Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь по-черному? А я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше.

Андрей вышел на двор.

Вскоре вышла жена Соня.

— Ох и навезли! — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. — Мне два платка вот таких — цветные, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...

— Ты вот чего... С тистями... Воду надо таскать, — заметил Андрей. — Свояк любит, чтоб воды было навалом.

— Господи, да я для них!.. И ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот... буреломом какой-то. Подумают, что мы — не рады. А я без ума радешенька. Ох, шали!.. Во сне таких сроду не видывала. Живут же люди!

Мылись в бане уже затемно.

Свояк Сергей Сергеич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал блаженно... Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле.

— Тянул! — весело сообщил Сергей Сергеич, когда Андрей спросил о наколках. — Четыре года... По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку... Ху! Кха!.. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил два тюка крепдешина — попались. Ну-ка, поддай ковшичек.

Андрей поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал хлестаться, опять закряхтел, застонал...

— Ну, и как?

— А?

— С крепдешином-то?

— Я ж говорю: попались. Вломили: мне четыре, брату семь... Не посмотрели на его ордена. У него орденов двенадцать штук было. С медалями.

— А брата-то за что?

— Так он же научил-то! Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел, пять лет только — под амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два!

— Тебе ничего, плохо не будет?

— Ерунда! Давай!

Каменка зло фыркнула, крутой, яростный пар клубом ударил в потолок, оттуда кинулся вниз... Андрей присел на корточки. Свояк мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выполз в предбанник отдышаться.

Андрей на минуту влез на полок, постегал маленько

ноги, поясницу — не любитель был париться. Тоже слез на пол.

— Иди, покурим, — позвал Сергей Сергеич.

Закурили в прохладном предбаннике. Свояк — опять за свое:

— Ну, а как, например, можно отдохнуть?

— Ну, елки зеленые! — изумился Андрей. — Ну, лежи, плюй в потолок... Кино привозят. Рыбачь ходи... «Как отдохнуть...»

— Рыбешка есть в реке?

— Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше.

— А лодка есть?

— Есть. Только без мотора.

— Почему? Моторов нету?

— Моторы-то есть — вон, бери в магазине... Грошей нет.

— А у меня ИЖ, в субботу часика в четыре утра выеду, как дам по тракту сотенку в час!.. Зверь! Мы на озера ездим рыбачить.

— Добываете?

— Ну, чтобы зря не трепаться: по полмешка привожу. Розка не знает, куда девать. И жарит, и солит, и уха идет... Но в основном огород удобряем.

— Во?! — удивился Андрей.

— Да. Я лук репчатый уважаю, у меня теплица есть, я туда — толченой рыбы... Знаешь, какой лук растет! Ни у кого в поселке такого лука нет. Вот такой вот!.. Аж сладкий, гад. А счас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «Фиат» подождать, но я думаю, они с этим «Фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это время «Волгу» получу. Кха. Нешто еще разок слазить? Пойду — шваркнусь...

Потом мылись женщины.

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой» и... поругались. Свояк начал опять хвастаться, как у него складно все получается в жизни... И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить.

— И телевизора даже нету?

— Нету.

— Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малахольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить?

Андрей обиделся.

— Не все же профессорское жалованье получают...

— Но телевизор-то можно купить!

— Да на кой он мне... нужен-то? И «Фиат» тоже не

нужен. Понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить...

— Как?

— Так. Узнаешь.

— Нет, как? Мм?

— Перелобаню разок, и все.

— Да?

— А чего ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышно: это нехорошо, то не нравится!.. Я тебя не звал сюда. А приехал, — значит, помалкивай. И будь человеком.

— Значит, ты предлагаешь так: даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо? Да?

— Я виноват, что в лавке нет шампанского? Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас его сроду никто не пьет.

— Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и «калгановой» выпить.

— А у тебя, например, комбайн есть?

— Какой комбайн?

— Обыкновенный, которым жнут.

— Зачем он мне?

— Вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечание, что у тебя комбайна нет...

— Но телевизор-то — это же первая необходимость! У тя же сын растет: вместо того чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть.

Андрей помолчал.

— Вон у меня лук репчатый есть — целые вязанки висят... Хочешь?

— Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно...

Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка.

— Еще раз обзовешь... вот видал? — сразу между глаз закатаю.

— Да? — Свояк оживился. — А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить. Вот видишь — нос? — Он нажал пальцем на свою кнопку. — Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели... Бывало, подойду, о так от — рраз!.. — Сергей Сергеич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея — свояк слетел со стула и громко заматерился.

— Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу тя,

в печень, понимаешь!.. В рот пароход! — Свояк сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой махал в воздухе, объяснял: — Я ж те хотел показать, а ты думал...

— Два молодых оглоеда — на старого человека, — сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился: он в самом деле решил, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. — И не стыдно?

— Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же...

В это время в сенях стукнула дверь — свояк вскочил с пола и быстро-быстро заговорил:

— Андрюха!.. В рот пароход! Молчи! Мы — сидим, пьем «калгановую»... Ничего не было! Понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых... Лады? Мы — сидим, мирно пьем «калгановую». — Свояк быстренько набулькал две рюмки, сел за стол.

Когда сестры вошли в избу, свояки чокались.

— А-а! — закричал Сергей Сергеич. — С легким паром!

— Ты, я смотрю, уже полегчал? — миролюбиво заметила Роза. — Ничего?

— Все в порядке, все в порядке, — поспешил Сергей Сергеич. — Спроси свояка.

— Все в порядке, — подтвердил Андрей.

— Чего нас-то не ждете, — упрекнула Соня. Но так— проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное настроение.

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк тонким, дрожащим голосом... И при этом закрывал глаза и мелко тряс головой.

Я знаю, меня ты не ждешь.
И писем моих не читаешь...

Все подхватывали:

Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.
Ох, встречать ты меня не приде-ошь...

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка.

А на другой день свояк выкинул шутку, которую Андрей не понял до конца, не понял — зачем?

Андрей возвращался вечером с работы... Свояк ждал его у ворот на скамеечке. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил:

— Ну что, малахольный?.. Отработал?

Андрей ушам своим не поверил.

— Ты опять? — с угрозой протянул Андрей.

— Следуйте за мной, гражданин! — И свояк пошел, не оглядываясь, к сараю.

— Чего ты? — не двигался с места Андрей.

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно, малахольный.

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не обещал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая... А там, на плахе, маслено поблескивая смазкой, лежал... лодочный мотор. Новенький, только из сельмага. Свояк пнул его носком ботинка.

— Бери, ставь на лодку.

— Как?..

— Говори «спасибо» и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю.

— Как же так? — все не мог понять Андрей.

Свояк засмеялся, довольный.

— Вот так... Чего рот разинул? От малахольный-то... Бери — твой!

— Он же дорого стоит, — сказал Андрей. — Куда к черту...

Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно — со злинкой — похлопал его по щеке.

— Бери... Я их те таких десяток могу купить. Помни Серьгу Неверова! Пошли.

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца.

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

Свояк сидел крепко.

— Ну, до крыльца! Ну! — Сергей Сергеич от нетерпения пришпорил в бока Андрею. — Ну!.. Шутейно же. Гоп! Гоп!.. Аллюром! Что, трудно, что ли?

Проклятый мотор! Черт его подсунул, не иначе. Стерва металлическая... Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал:

— Еге-ей! Скакал казак через долину!.. Гоп! Гоп!..

К счастью, никто не вышел из дома, и с улицы тоже не было видно, на ком это скачет гость Кочугановых «через долину».

Андрей пошел в дом, пинком расхлобыстнул дверь...

Но на столе — увидел — стояла опять «калгановая», вкусно пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, суетилась в кути... Да черт с ним, что прокатил на спине! Что действительно трудно, что ли? Зато теперь — с мотором, будь он проклят.

— Ну, как мотор-то? — спросила Соня.

— О так от!.. — выскочил вперед Сергей Сергеич.— О так от уставился на него и смо-отрит. Умора!.. — Свояк и Соня засмеялись, довольные. — Я говорю: бери скорей, пока не раздумал! А то ведь раздумаю!.. Ну, давай по рюмочке «калгановой»—с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще?—Свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера.

СУД

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых, парниковую грядку. Натаскала навоза, доброй землицы... А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посырей и оставила ша́ять на ночь. Он ша́ял, ша́ял, высох и загорелся огнем. И стена загорелась... В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, плетень... Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал. Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самовозгорание! — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. — Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим, — сказал он. — А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и все!

Муж Гребенщиковой, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню...

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание...

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то.

— Бывает, когда назём годами преет, да в куче — слежалый. А у ней за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд и, стало быть, чего тут еще говорить. Без него все решится.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете...

Шел Ефим на суд, как курва с котелком, — нервничал. Вспомнил чего-то, как один раз, в войну, он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего предсельсовета Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе — его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька «спустил на тормозах», в суд не подал, хотя долго после этого пугал: «Подать, что ли, Ефим? А?»

«Ну да, а я сейчас, выходит, иду человека топить, — думал Ефим. — На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента, мол, Ефим Валиков все равно не поймет, чтó это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб заметней было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел: хватит того, что нашумел с ними тогда, после демобилизации.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот

так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое, горюшко! — не желает мамзель с нами здороваться», — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтобы этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека, да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима...

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверно, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка...

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»... Соседи ведь.

— Соседи, — поспешил Ефим. — Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога...

— А подаете.

— Дак она же платить нисколь не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз...

— Подожгли его?

— Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во! — изумился Ефим. — Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я — как себя помню, так помню, что ворочал его, — так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом, не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю....

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было... Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, — продолжала Алла Кузьминична.

Судья все кивал головой.

«Счас докажут, что я верблюд», — затосковал Ефим.

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен мате-

риальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету. — Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть», — подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична...

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое, к дьяволу, самовозгорание! Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет... неловко. Договоритесь по-человечески с соседом... Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся и второпях — от благодарности — крепко занизил цену.

— Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке...

— Ну, сколько?

— Рублей двести, двести пятьдесят так... Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора... Что, им откажут, что ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха... Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю!

— Двести пятьдесят рублей, — подытожил судья. — Мой совет, Алла Кузьминична: заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим. И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну и заплатите мне, как вроде я нанял

человека рубить... Рублей шестьдесят берут, ну и кормешка — двадцать: восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет — даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы...

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем, — резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень — не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось комунибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо.

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подожгла, значит, надо платить.

— Гляди-ко!

— Что ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге... — Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал. — Да он, говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет, и ты станешь худая...

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди.

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова, не совестно? Проть кого пошла?! Да он, грит...

— Хватит лакать-то, обрадовался, — сердито заметила Марья. — Ты бы вот не лакал счас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала...

— Да где?! Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мяском да отнеси. Да скажи спасибо. А то укостылял и спасибо не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал!

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот...»

— Пить со мной он, конечно, не станет: он человек на виду, нельзя... — поразмышлял Ефим.

— Отнеси сальца-то.

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного дать?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну, взял и взял гостинец ребятишкам.

Ефим слазил в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него, само собой, пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, не сообразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди... Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку, товарищ судья, — позвал Ефим. — Пройдемте-ка в кабинет... От сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают? Неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то?

— У меня, что ли? — не понимал судья.

— Но.

— Есть. А что?

— Нате-ка вот отвезите им — деревенского... С мяском выбирал, городские с мясом любят. Нашему брату —

на физической работе — сала давай, посытнее, а вам — чего?.. — Ефим распутывал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь. — Вам повкусней надо... такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезите...

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом уставился на Ефима.

— Что? — спросил тот. — Я, мол, ребятишкам...

— Не надо, — негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти... А что? Это ж не деньги, деньги я бы...

— Да не надо! Вон отсюда! — Судья повернулся и сам вышел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то... Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что́ ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю *. Зараза».

СУРАЗ **

Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид — двадцать пять, не больше.

Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог! Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне — до фени». Ему все «до фени». Тридцать шесть лет — ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое —

* Скатать шлык — отодрать за волосы, взбить их на голове шапкой *(авт.)*.

** Сураз — 1) внебрачно рожденный; 2) бедовый случай, удар и огорчение *(сиб.)*.

матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это — тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашней.

— Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся — к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?

— С лица воду не пить, — резонно отвечает Спирька. — Она — терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением:

— Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него болела душа — опять пойдет: «Нет, это поразительно!.. Вылитый маленький Байрон». Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению:

— Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

— Да пошла ты к... — И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

— Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо — маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны. С дружком, та-

ким же отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять — отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку-тараторку, — уговорить сдаться добром. Шалаболка Вера тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним... Вышла и объявила гордо:

— Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

— Спирька, каждый твой выстрел — лишний год! — кричали ему.

— Считайте — сколько?! — отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «пыхтел».

Пришел — такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суетятся старики.

— Стакан водяры. — И смотрит с любопытством. — Что, ничего я мужик.

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков — никого, разъехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить.

Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие — муж и жена. Сергей Юрьевич — учитель физкультуры, Ирина Ивановна — пения.

Сергей Юрьевич — невысокий, мускулистый, широченный в плечах... Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна — маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон, — откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать — тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

— Пойду гляну, что за люди, — сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

— Садись, Спиридон, похлебай. — Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

— Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

— Там. — Старик кивнул на дверь горницы. — Укладываются.

— Как они?

— Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись попробуй.

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

— Можно?

— Войдите! — пригласили за дверью.

Спирька вошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

— Спиридон Расторгуев.

— Сергей Юрьевич.

— Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее.

Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом... Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная — очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

— С приездом, — сказал Спирька.

— Спасибо.

— Пришел попроведать, — пояснил гость. — А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

— Необщительный народ?

— Как везде: больше по своим углам.

— Вы здешний?

— Здешний. Чалдон.

— Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

— Давай! — охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. — Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

— Стаканчик можно пропустить, — согласился Спирька. — Откуда будете?

— Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

— Как жизнь здесь? — спросил Сергей Юрьевич.

— Жизнь... — Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. — Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая... — Нет, не хотелось говорить. — А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают что надо.

— Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

— Так — середка на половинке. Ничего вообще-то... — Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. — Закурить можно?

— Курите.

— Учительствовать?

— Да.

— Она по кому учитель?

— По пению.

— Что, поет хорошо? — оживился Спирька.

— Поет...

— Может, споет нам?

— Ну... попросите, может, споет.

— Пойду скажу старикам... Зря она там!

И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе — Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...

— Я согласилась не делать горячего, — сказала она.

— Хорошо, что согласилась.

— Да на кой оно!.. — чуть не сорвался Спирька на привычное определение. — Милое дело — огурец да кусок сала! Верно? — Спирька глянул на хозяина.

— Тебе лучше знать, — резковато сказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты» — так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас — стаканчик водки, — а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

— Я сразу себе стакан, потом — ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...

— Вот... — поежился. — Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И — то ли коньяк так сразу, то ли кровь — кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.

— Мечтяк коньячишко, — похвалил он. — Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.

— Милое дело — самогон, да? — спросил Сергей Юрьевич. — Дешево и сердито.

«Что бы такое рассказать веселое?» — думал Спирька.

— Самогон теперь редко, — сказал он. — Это в войну... — И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:

— Рассказать, как я жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

— Расскажи, расскажи, Спиридон, — попросил Сергей Юрьевич. — Это интересно — как ты жил.

Спирька закурил.

— Я — сураз, — начал он.

— Как это? — не поняла Ирина Ивановна.

— Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

— Вы знаете его?

— Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали — и ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать... — И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так — сразу — расхотелось. Мало веселого... Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить.

Он поднялся.

— Мне в рейс. Спасибо за угощение.

— Ночью в рейс? — удивилась Ирина Ивановна.

— У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

— Странный парень, — сказала жена после некоторого молчания.

— Красивый, ты хотела сказать?

— Красивый, да.

— Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.

— Да?

— И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

— С чего ты взял?

— Поскребло-о.

— Тебе хочется, чтобы поскребло?

— А что?.. Только... не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

— Испугаешься, — сказал тот. — Для этого нужно мужество.

— Перестань, — сказала жена серьезно. — Чего ты?

— Мужество и, конечно, сила, — продолжал муж. — Надо, так сказать, быть в форме. Вот он — сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

— Почему ты решил?

— Не веришь? Иди спроси у стариков.

— Если тебе нужно, иди спрашивай.

— А что?..

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся... И с наигранной торжественностью объявил:

— Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь — обильный, чтоб резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху... И тогда бы — заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» — к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

— Ну? — недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча за окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было года двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо:

— Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

— Ты что, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

— Да не себе я, чего ты разоралась-то!

— Кому же?

— Тебе. Им же исть надо! — Про детей Нюриных. — Голодные же сидят...

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

— Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь — вкуснятина, сил нет...

Вот что вспомнилось вдруг.

— Чего стоишь-то? — спросила Нюра. — Дверь открыта... Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

— Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

— Иди, что ли?

Молчание.

— Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту! — Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

— Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру... Какого черта, действительно? Лучше не приходить тогда.

— Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная божья мать...

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая: внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась.

Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

— Букетик, — предложил он. И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

— Ах!.. — обрадовалась женщина. — Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела...

— Жарки. — В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви. — Я вам теперь часто буду такие привозить.

— Да нет, зачем же?.. Это ведь — труд лишний...

— Ох, — скокетничал Спирька, — труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой коси... — Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие, удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука... «Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую, и все». И поцеловал.

И погладил белое нежное горлышко... И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах... Спирька услышал за спиной насмешливый голос.

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел! И все у них есть, у дьяволов, везде они — желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну, как, удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подрожали. Он посмотрел на жену. — Что молчите? Что побледнела?! — Крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину. — Шлюха!.. Успела? — Муж шагнул к ней...

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно, — сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку.

— Кота пакостливого поймал, — пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило.

— Пидор, гад, — хрипел Спирька, — что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

«Убью», — мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

— Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкуль-

гурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонилня над ним.

— Я тебя уработаю, — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать. — Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя, — повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег. — Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель. — За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнул за собой дверь и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома — через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, — чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке — картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму. — Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для блезира в сенях. Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпимши... Как поедешь-то? — Мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой. — Мать во тьме перекрестила его. — Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные.

— Все будет хорошо. — Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни — мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал. А под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а — в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас.

Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороный
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный. «Так, так, так, — мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. — Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался — тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так...» Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим приятным

вздохом: «п-ах». И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом... Вот тут его давеча волокли за шкирку. Пронеси, господи, — чтоб старики не проснулись. Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает! «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна... Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, — на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал — очень уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами.

— Я предупреждал: я тебя уработаю, — сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. (Когда же взвел?)

— Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча, и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска.

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку.

— Вылазь из кровати, — велел Спирька.

— Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

— Я знаю. Вылазь.

— Спиридон! Неужели...

— Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати — в трусах, в майке.

Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя — такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами — как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки...

— Не надо! О-о-о-й!! Не надо! О-о-й!.. — И хотела схватить за ружье — на коленях — хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко

расставив руки. И получил удар прикладом в грудь, и свалился.

— Родно-ой! Не надо! — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки. — О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

— Не надо!! — кричала женщина, и мотала головой, и все хотела обнять его ноги, и ползала без трусов — рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того — все хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпинывал женщину... И как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

— Мать вашу!.. — заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли — о матери. От всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало — что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять — мать... Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел па землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?!» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки...

«Счас толканет», — опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней — смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как... Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. «Погоди-ка, милок, погоди. Погоди, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! — отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!»

— В чем дело? — спросил вслух Спирька. — А? — брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость.

— В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-яй! Как же так? Побили мальчика? Побили... Больно, да? Хотел себе в лобик — пук!.. Ну и фраер! — Спирька даже засмеялся

и схватился за губу: губы треснули от учителева рычага, стало больно, когда засмеялся. — Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот выговаривал: «Фто ты? Фто ты?») — Разве так можно? А-я-я-яй! Нехорофо. Ну, побили... а ты сразу... стреляться. О-о!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, — Спирька приложил ладонь к груди, — здесь была бы рваная дыра от двух зарядов — больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы... О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи — тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить... Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» — решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал... сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, позло материть покойников.

— Лежите?.. Ну и лежите! Лежите — такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь.

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там... Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать.

Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот — ни днем, ни ночью... Спирька зажег спичку и осветил свое лицо.

— Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель развела.

Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный.

— Да где эт тебя так?! — спросила Вера.

— В одном месте... Славно уделали?

— Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

— Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку... Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

— Ой! — притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать... Можно, между делом, приласкать хозяйку, погладить по руке... Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная...

— Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась...

— Ружье. Пусть стоит.

— А зачем ружье-то?

— Да так.

— Спирька... ты чего это?

У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось, бог его знает. Рак, наверно.

— Спирька!..

— Аиньки?

— Ты что... воюешь, что ли, бегаешь?

— Воюю. Вот — ранили. — Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.

— Вот чудной-то. Может, убил кого?

— Нет. После убью. Потом.

— Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего... тогда и меня... как свидетельницу... Ну тя к дьяволу!

— Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть не убили... А мне надо еще придумать, как убить.

— Пей и уходи, — рассердилась Вера. — Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.

Спирька посерьезнел.

— Успокойся. Неужели я похожий на такого — невиновных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня. Я б никогда не пришел, если б... Брось.

— С ружьем по ночам носится...

Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.

— Не хочу.

— Почему?

— Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?

— Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо. — Вспомнился учитель... Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поубавилось. — Ладно, ладно, ладно, — торопливо сказал он. — Не надо про это. — И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась — маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная... Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

— Вечером зайду, возьму.

— А куда сам?

— На работу, куда... Это... не болтай про ружье-то.

— Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем...

— Умница. Избили меня какие-то нездешние... На тракте. Я хотел догнать их с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку; впрочем, Спирька и не старался особенно-то казаться правдивым.

— Выпьешь?

— Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам — чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали.

— Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

— Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

— Чего эт?

— Так... Упал. — Стыд, позор... От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. — Закурим, что ли?

— Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, наверно. Как же эт ты?

— Ну, Илюха... бывает — падают. Я вот те счас залеплю, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

— Чего ты?

— А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать. Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные... Ах, учитель, учитель... Вот ведь как научился руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить... Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную... исцеловать, всю, до болячки, чтоб орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет. Это будет потом... спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул... Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит... как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

— Одно предупреждение, — деловито заговорил Спирька. — Что у нас тут случилось — никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, но, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

— Как это... уработаю? — глупо переспросила Ирина Ивановна.

— Я получил аванец... я его должен отработать. — Не знал Спирька, когда это произойдет, но придет он сюда однажды — спокойный, красивый, нарядный — скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за ситуация такая и кто такой будет сам Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прощу прощения...» — «Ну, ну, — скажет Спирька вежливо, — не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина... жена ваша, она должна уважать вас».

— Какой аванс? — все никак не могла понять Ирина Ивановна. — У кого взяли?

— Он мне будет мстить. Отомстит, — пояснил учитель. — Хорошо, Спиридон, я принял к сведению. — Учитель взял себя в руки. — Мы никому ничего не расскажем.

— Вот так... Будьте здоровы пока. — Спирька вышел.

«А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

«А куда, куда?» Но, оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полсотне километрах отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал. Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем: придет он к нему — вежливый, нарядный... Но желанная картина что-то не возникала. Спирька в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну — придет... «Здравствуйте!» Нет... Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя. Все эти видения: учитель висит головой вниз, или: учитель, бледный, жалкий, ползает у него в ногах, — это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но... Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

«Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя... Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять: «Как теперь?» И не мог.

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал

к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

«Вот где стреляться-то,—вдруг подумал он спокойно. — А то — на кладбище припорол. Здесь хоть красиво».

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее... И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, понискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

«Тоже— парой летают», — подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам... Говорят: «Как птаха небесная». Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли... Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся. Пижон Спиря... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие... Вон саранка цветет, вон медуница... А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал...

...Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Из-под себя как-то изловчился.

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...

ЗАЛЕТНЫЙ

Кузнец Филипп Наседкин — спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик — вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так — стал прикладываться. Это жена его, Нюра-Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.

Главное, всех насторожило, что Филя «схлестнулся» с Саней Неверовым. Саня — человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра — это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал.

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-окнами смотрела далеко-далеко — через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли... Там, в той ограде, отдыхала душа.

Саня не то что слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал. Мало рассказывал) — он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть... И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко — в горы. Думалось не думалось — хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг — и в какую-то минуту — стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно! — так думалось.

Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили — Залетный. И, разумеется, — Саня, потому что — Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях — трепетный живой комочек жизни. И

у Фили все восставало в груди — все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо.

Филя так и сказал на правлении колхоза:

— Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.

— Пьяница, — поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.

Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше.

— Дура, — сказал ей Филя.

— Филипп! — строго прикрикнул председатель колхоза. — Выбирай выражения!

— Ходил к Сане и буду ходить, — упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу.

— Зачем?

— А вам какое дело?

— Ты же свихнешься там! Тому осталось... самое большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!

— Он вас всех переживет, — зачем-то сказал Филя.

— Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?

— Иди спои меня, — усмехнулся Филя. — Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?

— Так это всегда так начинается! — вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель «пополоскать зубки». — Всегда же начинается с малого!

— Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд, — стал развивать мысль председатель, — что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?

— Нет.

— А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барахлишко: часы «Павел Буре», аккордеон... В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу — играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичок, спробуй счастье! А я уже слышал от ребят — обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, спробуй! Э-э, думаю, ну проиграю тридцатку... — Председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. — Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту... Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза бубей, например.

И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом — запомнил? Запомнил, говорю. Следи!.. Раз-раз-раз — перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем... Переворачиваем — туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре... Ну и все: к вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги — как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается — незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся... Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп, — не прогадай.

— Мне не восемнадцать лет.

— А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно... Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополучно... Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется!..

— Дуры! — опять сказал Филя.

— Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра — дура, что ли?

— И моя дура. Чего заполошничать?

— Да то, что ей семью разрушать не хочется!

— Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.

— Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все... Он дождется.

— Не имеете права — больной человек.

— Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.

— Вызывали? — спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза.

— Вызывали. — Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом.

— Не велели ходить?

— Та-а... што я, ребенок, што ли!

— Да, да, — согласился Саня. — Конечно. — И веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда — вспять — взойдет солнце. Оно там заходило. — Ночью,

часу в двенадцатом, соловьи поют. Ах, дьяволята!.. выкомаривают. Друг перед другом, что ли?

— Самок заманивают, — пояснил Филя.

— Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди — сильные.

«Это ты-то — сильный?» — думал Филя.

— Уважаю сильных людей, — продолжал Саня. — В детстве меня колотил один парнишка — сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое — через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал — надорвался. Пупок развязался.

— А ты бы взял — раз послабей — гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то, ну, один извязался тоже, проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил — отстал.

Саня пьянел. Взор его туманился... Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.

— Хорошо, Филипп. Мне — пятьдесят два, двенадцать откинем — несознательные — сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было — торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе... Теперь — стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощущался, наплывал... Это было только слабое гнилостное дыхание, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание.

Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле — хорошо. Вообще жить — хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.

— Ты совсем, што ли, одинокий?

— Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен. — Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался. — И у меня слабость эта появилась — выпить... Я им мешаю. Это естественно...

— Трудно тебе, наверно, жилось...

— По-разному. Иногда я тоже брал гирьку... Иногда мне гирькой. Теперь — конец. Впрочем, нет... вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло — я вдруг сознаю бесконечность.

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть, тот тоже не мог уразуметь.

— В тюрьме небось сидел? — допытывался Егор.

— Бог с вами! Вы еще из меня каторжника сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал... Очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был. — Саня искренне, негромко, весело смеялся. — Вконец запутал вас... Не мучайтесь. Ну мало ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.

Это мужики понимали — жалеет брат.

— Если бы все начать сначала!.. — На худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели. Он волновался. — Я объяснил бы, я теперь знаю: человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет... Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая... мм... — Дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам надоело напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела.

— Любовь? Да, — бормотал Саня, — но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной — и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь — прекрасна. И это совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно — да. Да, это бессмысленно...

Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь — прекрасна.

Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет себе под нос нечто — так он думает, тот человек, — важное.

Через неделю Саня помер.

Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.

Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда

только забывался — точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю...

— Сань! — звал Филя. — Ты не задумывайся. А то так хуже. Может, встанешь походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе... Сань?

— Мм?..

— Поломай себя... Разомнись маленько.

— Сходи, Филипп... дай веточку малины... Под плетнем растет. Только пыль не стряхни... Принеси.

Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел... Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал: «Какая на ней пыль? Не успела еще... пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то?»

Саня приподнялся на локте и прямо, в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.

— Не хочу, Филипп! — ясно сказал Саня. — Все знаю... Не хочу! Не хочу!

Филя выронил веточку.

Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:

— Господи, господи... какая вечность! Еще год... полгода! Больше не надо.

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня этой ночью помрет. Скоро помрет. Он молчал.

— Не боюсь, — тихо, из последних сил торопился Саня. — Не страшно... Но еще год — и я ее приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это же не казнь! Зачем же так?..

— Выпей водки, Сань?

— Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помню. Кому же это надо, если я не хочу? — Саня плакал. — Филипп...

— Што, Сань?

— Кому же это надо? Ну ведь глупо же, глупо!.. Она же — дура! Колесо какое-то.

Филя тоже плакал — чувствовал, как по щекам текут слезы. Сердито вытирался рукавом.

— Сань... ты не обзывай ее, может она... это... отступит. Не ругай ее.

— Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо... и никак не помочь! Дура.

Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже — все.

— Поверни меня... — попросил Саня. — Отверни. — Филя повернул друга лицом к стене.

— Дура, — еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять замолчал.

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил. Он помер.

Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули.

Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ладоней—точно силилась что-то сказать. И не могла.

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед

вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас... Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься, — стращали его. — Они все так, запойники-то: месяц не пьет, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну, так, ладно, — рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые...

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме — шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от два-

дцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь — внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красáвица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну,—хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно раз-

рушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церков-

ка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Славу богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня

тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заволновался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...

— А я дам. Ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как «от себя»? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню, — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!.. — И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно, с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше...

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу 16-го века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома, — догадался Семка. — И, по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка. — Идут.

— Идут. — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице, есть церква семнадцато-

го века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талица церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте, — предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы, из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте, «Талицкая церковь. Н-ской области. Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга...» — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... «погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году».

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да. — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже...

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я что-то не верю... — Семка кивнул на казенную

бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам...

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит — зачем спрашивать?

ЧЕРЕДНИЧЕНКО И ЦИРК

В южный курортный городок приехал цирк.

Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел—делал выговор продавщицам за теплое пиво.

В субботу вечером Чередниченко был в цирке.

На следующий день, в воскресенье, в цирке давали три представления, и Чередниченко ходил на все три.

Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренек в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом... Но не ради клоуна и не ради львов ухлопал Чередниченко шесть рублей, нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась.... Никогда еще в своей жизни Чередниченко

так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой. Он полюбил ее. Чередниченко был холост, хоть разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое не получилось у них с женой — разошлись. Давно это было, но с тех пор Чередниченко стал не то что презирать женщин — стал спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к пятидесяти годам станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком. Или, на худой конец, директором совхоза. Он заканчивал сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация... Время работало на него. «Буду замдиректора, будет все — и жена в том числе».

В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть, курил, ворочался... Забывался в полусне, и мерещилось черт знает что — маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы... Чередниченко просыпался, вспоминал циркачку, и сердце болело, ныло, точно циркачка была уже его женой и изменяла ему с вертлявым клоуном.

В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторонних к артистам и львам, что та циркачка — из Молдавии, зовут Ева, получает сто десять рублей, двадцать шесть лет, не замужем.

С последнего представления Чередниченко ушел, взял в ларьке два стакана красного вина и пошел к Еве. Дал служителю два рубля, тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах... Остановил какую-то женщину, та сказала, что Ева ушла домой, а где живет, она не знала. Знала только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю еще рубль, попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес. Чередниченко выпил еще стакан вина и пошел к Еве на квартиру.

— Адам пошел к Еве, — пошутил с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный, знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору, в гору, на улицу Жданова — так, ему сказали, надо идти.

Ева устала в тот день, готовилась ко сну.

— Здравствуйте! — приветствовал ее Чередниченко, ставя на стол бутылку «Кокура». Он за дорогу накрутил себе хвоста — заявился смелый и решительный. — Че-

редниченко Николай Петрович. Плановик. А вас зовут Ева. Правильно?

Ева была немало удивлена. Обычно поклонники ее не баловали. Из всей их труппы поклонники осаждали троих-четверых: смуглого клоуна, наездницу и — реже — сестер Геликановых, силовых акробаток.

— Я не помешал?

— Вообще-то я спать готовлюсь... Устала сегодня.

— Да, сегодня у вас денек... Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам?

— Нет.

— Я бы все-таки несколько поубавил его: на нервы действует. Очень громко.

— Нам ничего... Привыкли.

Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьезно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться... Что она была циркачкой, они скроют, никто знать не будет.

— Вы не позволите предложить вам?.. — Чередниченко взялся за бутылку.

— Нет, нет, — твердо сказала Ева. — Не пью.

— Совсем?

— Совсем.

— Нисколько-нисколько?

— Нисколько.

Чередниченко оставил бутылку в покое.

— Проба пера, — к чему-то сказал он. — Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор... Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдельный дом из четырех комнат, ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. «Николай Петрович, дай рубль». — «Василий, говорю, Мартыныч, дорогой, не рубля жалко — тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело — с высшим образованием человек, талантливый инженер, говорят... До чего ты себя доведешь!»

— Но рубль-то даете?

— А куда денешься? Он, вообще-то, всегда отдает. Но действительно, не денег этих жалко, я достаточно зарабатываю, у меня оклад сто шестьдесят рублей да премиальные... вообще, находим способы. Не в рубле дело, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в магазин идет... люди смотрят... У меня у самого скоро высшее образование будет — это же должно как-то обязывать, так я понимаю. У вас высшее?

— Училище.

— Мгм. — Чередниченко не понял — высшее это или не высшее. Впрочем, ему было все равно. По мере того как он излагал сведения о себе, он все больше убеждался, что тут не надо долго трясти кудрями — надо переходить к делу. — А родители у вас есть?

— Есть. Зачем вам все это?

— Может быть, все-таки пригубите? С наперсток?.. Мм? А то мне неловко одному.

— Наливайте — с наперсток.

Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика. «Не перебрать бы», — подумал.

— Видите ли в чем дело, Ева... Ева?..

— Игнатьевна.

— Ева Игнатьевна. — Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнатке — шаг к окну, два шага к двери и обратно. — Сколько вы получаете?

— Мне хватает.

— Допустим. Но в один прекрасный... простите, как раз наоборот, — в один какой-нибудь трагичный день вы упадете оттуда и разобьетесь...

— Слушайте, вы...

— Нет, послушайте вы, голубушка, я все это прекрасно видел и знаю, чем все это кончится — эти аплодисменты, цветы... — Ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать: нет, голубушка, ты еще не знаешь жизни. А мы ее, матушку, как-нибудь изучили — со всех сторон. Вот кого ему не хватало в жизни — такой вот Евы! — Кому вы потом будете нужна? Ни-ко-му.

— Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес?

— Ева Игнатьевна, я буду с вами напрямик — такой характер. Я человек одинокий, положение в обществе занимаю хорошее, оклад, я вам уже сказал, до двух сот в целом. Вы тоже одиноки... Я второй день наблюдаю за вами — вам надо уходить из цирка. Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности? Могу прикинуть...

— Вы что? — спросила Ева Игнатьевна.

— У меня большой дом из лиственницы... Но я в нем один. Нужна хозяйка... То есть нужен друг, нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня четыре с половиной тыщи на книжке, сад, огород... Правда, небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. Я сам из деревни, люблю в земле

копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева Игнатьевна... поверьте мне: это же не жизнь, как вы живете. Сегодня здесь, завтра там... ютитесь вот в таких комнатушках, питаетесь тоже... где всухомятку, где на ходу. А годы идут...

— Вы что, сватаете меня, что ли? — никак не могла понять циркачка.

— Да, я предлагаю вам поехать со мной.

Ева Игнатьевна засмеялась.

— Хорошо! — воскликнул Чередниченко. — Не надо мне верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой счет, поедемте со мной — посмотрите. Посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу... Если я хоть в чем-нибудь обманул вас, я беру свои слова назад. Расходы — туда и обратно — беру на себя. Согласны?

Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд... Ему нравилось, как он действует: деловито, обстоятельно и честно.

— Мне — сорок второй год, забыл вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно. Родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, Ева. Я не с бухты-барахты явился к вам... Не умею я говорить красивые слова, но жить будем душа в душу. Я уже не мальчишка, мне теперь — спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта багема...

— Богема.

— А?

— Бо-ге-ма. Через «о».

— Ну, какая разница? Суть-то одна. Разная, так сказать, по форме, но одинаковая по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни, хочется помочь... начать жизнь морально и физически здоровую. — Чередниченко сам проникался к себе уважением — за высокое, хоть негромкое благородство, за честность, за трезвый, умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. — Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна — помоложе, возможно, поинтересней... Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город? О детях уже говорить не приходится! Им что!.. — Чередниченко имел в виду зрителей. — Посмеялись и разошлись по домам — к своим очагам. Они все кому-то нужны, вы — снова в такую вот, извините, дыру — никому вы больше не нужны. Устали вы греться у чужого огня! (Эту

фразу он заготовил заранее.) Я цитирую. И если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, — вот оно. — Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от «Кокура». Долго было бы рассказывать, какие это были чувства... Было умиление, было чувство превосходства и озабоченности сильного, герой, и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном Чередниченко. Каким-то особым высшим чутьем угадал он, что больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое... Надо уходить. — Не буду больше утомлять вас — ухожу. Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку вашему служителю... такой, с бородавкой, в шляпе...

— Знаю.

— Вот, оставьте ему записку — где мы встретимся.

— Хорошо, оставлю.

Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо.

— Спокойной... простите, наоборот, — неспокойной ночушки.

Циркачка тоже улыбалась.

— До свиданья.

«Не красавица, но очень, очень миловидная, — подумал Чередниченко. — Эти усики на губе, черт их возьми!.. пушочек такой... — в этом что-то есть. Говорят — «темпераментные».

Чередниченко вышел на улицу, долго шел какими-то полутемными переулками — наугад. Усмехался, довольный.

«Лихо работаешь, мужик, — думал о себе. — Раз-два, и в дамки».

Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда вдосталь налюбовался собой, своей решительностью (она просто изумила его сегодня, эта решительность), он вдруг ни с того ни с сего подумал: «Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень... Черт ее знает, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету, может, ее... это... того... Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва!» С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал, с другой... очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умеет действовать, если потребуется, навело его на мысль: а не лучше ли с такой-то напористостью — развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины... не циркачки. Есть одна учительни-

ца, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не прийти к ней вечерком и не выложить все напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице, думал, но страшился. А чего страшился? Чего страшился-то?

«Так-так-так... — Чередниченко прошел вдоль приморской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение! Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди: они не знают сомнений. Чередниченко грызло сомнение. — Скрыть, что она циркачка, конечно, можно, только... А характер-то куда деваешь? Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся. Ведь он у нее уже сложился, характер, — совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей, скажу, что она была, допустим, администраторша в гостинице... Но себя-то я не обману! На кой черт себя-то обманывать?! Ведь она, эта преподобная Ева, столько, наверно, видела-перевидела этих Адамов, сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверно, давала жизни... с этим своим пушком на губе. — Уже теперь не сомнение, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака, долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. — Так, так, так... Значит, обрадовался — сразу покорил! А она, наверно, счас богу молится: нашелся один дурак, замуж взять хочет. А то — будь она на хорошем-то счету — не нашелся бы никто до двадцати шести лет! Эка!.. Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые! Все с ней: «поматросил да бросил», а один долдон в жены себе определил. А потом выяснится, что она рожать не может. Или хуже: переспит с кем-нибудь, забеременит, а скажет — от меня. И нечего ее винить, у нее это как алкоголизм: потребность выработалась — обновлять ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома... Или доказывай потом судьям, что я ее... с канатов снял. Можно сказать, разгреб кучу малу и извлек из-под самого низа... сильно помятую драгоценность. — Опять вспомнилась Чередниченко вдовая учительница в их городке... И он чуть не взялся за голову: каких глупостей мог наворотить! — Ведь вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы мне там устроила парочку концертов и тогда — завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил! Да приехай ты

домой, дурак ты фаршированный, возьми такую же бутылочку винца или лучше коньяку, хороших конфет — и иди к учительнице. Поговори обстоятельно, тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забулдыга, а на хорошем счету... Поговори с человеком. Ведь умеешь! Ведь скоро диплом в карман положишь — чего же ждать-то? Страдатель, елки зеленые!»

Опять долго не мог заснуть Чередниченко — думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью... Приходил с работы, говорил весело: «Мать — порубать!» Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики, получалось смешно. Ездил на маевку с женой-учительницей, фотографировал ее... Воровато, в кустах, выпивал с сослуживцами «стременную», пели в автобусе «Ревела буря, гром гремел...». Думал о детях — как они там с бабкой? Но он-то еще ничего, базлапил с мужиками про Ермака, а вот жена-учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома — с детьми, ей уже не до веселья — скорей домой! Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь! Славнецкую жизнь можно устроить.

Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на маевке вместо жены-учительницы жену-циркачку... Нет, циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет глазами стрелять туда-сюда... Нет!

«Как же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неудобно. Явился, наговорил сорок бочек и — нету. Нет, схожу увижусь... Скажу, что срочно отзывают на работу, телеграмму получил. Уеду — спишемся, мол. И все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут».

С тем и заснул Чередниченко. И крепко спал до утра. Во сне ничего не видел.

На другой день Чередниченко загорал на пляже... Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку.

Служитель встретил Чередниченко, как родного брата.

— Вам письмишко! — воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы. И погрозил пальцем. — Только наших не обижа-ать.

Наверно, еще хотел получить трешку.

«Фигу тебе, — подумал Чередниченко. — Жирный будешь. И так харя-то треснет скоро».

Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Чередниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил...

Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка, временами слышался дружный смех: наверно, длинноволосый выкомаривает.

Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел... Конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны, можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты, и они ему даже надоели. Нет, Чередниченко волновался. Немного. Там где-то, внутри, дрожало. Неловко все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову — идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, что должна будет, почти согласившись, остаться с носом?

Чередниченко вскрыл конверт.

На листке бумаги было написано немного... Чередниченко прочитал. Оглянулся на цирк... Еще раз прочитал. И сказал вслух, негромко, с облегчением:

— Ну вот и хорошо.

На листке было написано:

«Николай Петрович, в сорок лет пора быть умнее. Ева».

А ниже другим почерком — помельче, торопливо:

«А орангутанги в Турции есть?»

Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засмеялся.

— Хохмач. — Он почему-то решил, что это написал клоун. — Ну, хохмач!..

Чередниченко встал и пошел по улице — в сторону моря. Мысленно отвечал Еве:

«Умнее, говоришь? Да как-нибудь постараемся, как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хочем быть умными, только находит порой такая вот... Как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она проруха и вышла. Советуешь, значит, быть умнее Николаю Петровичу? Ах, дорогуша ты моя усатая!.. Хотя, конечно, ты же по веревке умеешь лазить, кому же и советовать, как не тебе — «мне сверху видно все»! Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же! Жизнь-то дается один раз, тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть!

Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать — «ловите миг удачи»! Ловите, ловите... Черти крашеные».

Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный пароход «Россия». Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой.

— Куда-нибудь бы поплыть... Далеко-далеко! Да?

— На таком, наверно, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море...

«Давайте, давайте — плывите, — машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая спокойно разглядывать пароход. — Плывите!.. Молокососы».

Ему было очень хорошо на скамеечке, удобно. Стаканчик «сухаря» приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько, себе под нос, насвистывать «Амурские волны».

ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

В чайной произошла драка.

Дело было так: плотники, семь человек, получили аванс (рубили сельмаг) и после работы пошли в чайную, как они говорят, — посидеть. Взяли семь бутылок портвейна (водки в чайной не было), семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по три, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок: надо его делать плотникам или это уже столярная работа? Упустили-то сельповские, заказчики, а плотники тогда промолчали (бригадир у них в этом деле дока). Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже, они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее, и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали «на дыбошки»: прилавок — не наше дело! То есть они могут, конечно, его сделать, но за это — отдельная плата.

— Я им справочник покажу, — с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца. — Я их носом ткну, где написано черным по белому: какие

работы плотницкие, а какие столярные. Они же ни бум-бум в этом.

Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной, толковали...

Но это — потом. Сейчас они говорили:

— А если бы, значит, так: им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок?

— Да любой прилавок! Это же особая работа...

— До чего ушлый народ пошел! Эдак они нас заставят и рамы вязать!

— Наше дело теперь: настелить пол, окосячить, навесить двери — и все, точка.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Еще, что ли, по одной?

— Давайте.

Скинулись, взяли еще семь бутылок.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Ну? Ну? Ну?

— Да не «ну» — слушай! Я рубил баню Дарье Кузовниковой...

— При чем тут Дарья? То — частное лицо, а то — организация: сравнил...

— Я те к примеру! Ты слушай сюда!..

— Долбо...

— Мужики, перестаньте лаяться! — крикнула буфетчица. — А то выставлю счас всех!.. Распустили языки-то.

— Ты слушай сюда!

— Ну!

— Гну! Если бы не женщина тут, я б те сказал...

В общем, беседа приняла оживленный характер: сельповским здорово перепадало — за наглость и вероломство.

Тут в чайную пришел Аркашка Кебин, по прозвищу Танцующий Шива.

Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе «портвяшку», котлету (поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать), сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору... И сказал громко:

— Хмыри!

Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку.

— Трепачи, — еще сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос. — Проходимцы.

Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно! Даже с Аркашкиным языком и то — на семерых подвыпивших так говорить... Что он, сдурел, что ли?

— Это я вам, вам, — сказал Аркашка. — Бедненькие — обманули их. Вас обманешь! Тот еще не родился, кто вас обманет. Прохиндеи.

У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся.

— Недоумеваете, почему прохиндеями назвал? Поясняю: полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором: не вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы — вроде вас обманули. Нет, это вы обманули!

— Да? — спросил бригадир. И это «да» было — растерянность, никак не угроза. Беспомощность.

— Да, да. — Аркашка отдавил бочком вилки кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот — очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом (так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников), не прожевав, продолжал говорить: — Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно, но где же правда, товарищи?! — Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду, и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила — правда: зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев. — Стыдно, товарищи. И, главное, сами сидят возмущаются! Видели таких проходимцев? Ну, ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? — Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять. — Ведь вы на этом же самом месте похохатывали... — Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа — ломанет. — Ванька!.. Поставь бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!

Плотники обрели дар речи.

— А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку.

— Иди к нам, Аркашка.

— Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам.

— Пусть он поставит бутылку.

— Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркашка.

Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную грабастую лапу и поймал Аркашку за грудки.

— А-а, Шива!.. На понт берешь, да? Счас ты у меня станцуешь. Танцуй!

Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... это не рука, а березовый сук с пальцами.

— Брось... — с трудом проговорил Аркашка.

— Танцуй!

— Отпусти, дурной!..

— Будешь танцевать?

Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает!.. Руками. А то — сам стоит, а голова танцует...

— Голова?

— Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит.

А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем.

— Будешь танцевать?

Чудовищные пальцы сжались туже.

— Буду... Отпусти!

Ванька отпустил.

— Гад такой. Обрадовался — здоровый? — Аркашка потер шею. — Распустил грабли-то... Попроси по-человечески — станцую, обязательно надо руки свои поганые таращить!

— Не обижайся, Аркашка. Станцуй вот для человека — он никогда не видел. Ванька больше не будет.

— Станцуй, будь другом!

Аркашке набухали стакан из своих бутылок.

— Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?

— Пусть танцует.

Аркашка оглушил стакан.

— Зараза, — сказал он с дрожью в голосе. — Еще руки распускает... Для всех станцую, а ты — отвернись!

Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.

— Станцуй, Аркашка. Ванька, отвернись, — Ваньке подмигнули. — Отвернись, кому сказано! Чего ты, в самом деле, руки-то распускаешь?

— Нашелся мне, понимаешь... — Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку. — Губошлеп. Три извилины в мозгу и все параллельные.

— Ладно, Аркашка, станцуй.

— Отвернись! — прикрикнул Аркашка на Ваньку.

Ванька сделал вид, что отвернулся.

Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал...

Как он танцует, Шива, — это надо смотреть.

Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки — это свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так, больше слабый Аркашка не мог никак.

— Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди! — объявил Аркашка.

Это — название танца; Аркашка разрешил:

— Ванька, гляди! Можно глядеть! — И начал.

Дал знак воображаемым музыкантам, легкой касательной походкой сделал ритуальный скок... И опробовал половицу покрепче — надежно. Выдал красивое, загогулистое колено, еще, еще — это он показал, что как все-то пляшут — он так умеет. Он умел еще иначе. Он посмотрел на Ваньку... Сделал ему гримасу, показал его, заинтересованного губошлепа... Потом потянулся, сонно зачмокал губами — Ванька проснулся утром.

Плотники засмеялись.

Аркашка проковылял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы — Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать — жадно, много, безобразно... Отвалился от стола, стал икать...

Плотники опять засмеялись.

— Сука, — прошептал серьезный Ванька.

Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено — конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит на небо, чешется... Нашел даже вшу под рубахой, убил.

— Падла, — сказал Ванька. — У меня сроду вшей не было. Даже в войну...

— Тихо, — попросили его.

— А чего он выдумывает!

— Тихо!

Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, напрягся так, что лицо перекосилось...

Плотники хохотали.

Ванька хотел было встать, ему не дали.

Аркашка мучился на полу...

Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал... Взял гвоздь и забил правильно.

Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое — Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал: теперь полгода будут помнить, как «Ванька дергал гвозди». Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.

В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина... Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это — что Аркашка подмигнул — доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правой хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех.

— Он, сука, видел, как я работаю?! Он критикует!.. Он видел?

— Што ты, што ты — шуток не понимаешь. Уймись!

— Вам шутки, а мне в глаза будут тыкать. Пусти!..

Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого... Все повскакали.

Аркашка на всякий случай отбежал к двери.

— Хаханьки строить? — орал Ванька и еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене.

Аркашка сверкающими глазами смотрел на все.

— Так их, Ванька! Так их!.. — вскрикивал он. Его не слышали.

Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки...

— Зовите милицию! — заблажила буфетчица. — Они же побьют здесь все!..

— Не надо! — крикнул Аркашка. — Не надо милицию!

— Ша! — сказал вдруг нездешний бригадир. — Ша, пацаны... я валю этого бычка.

Бригадира услышали.

— Кто, ты? — удивился Ванька. — Ты?

— Отошли, пацаны, отошли... Я его делаю. — Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился.

— Иди, падла... Иди.

— Иду, Ваня, иду.

— Иди, иди.

— Иду. — Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет.

— Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю...

— Та какой я боксер! — Бригадир остановился перед Ванькой. — Що ты!..

— Ну? — спросил Ванька.

— От так — раз! — Бригадир вдруг резко ткнул Ваньке кулаком в живот.

Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть.

— Два.

Ванька зажмурился от боли... Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови... Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но так подло — нет.

Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал:

— Счас как дам по башке! Гад такой!

— Выходите к чертовой матери! Все! Вон! — Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу. — Выходите к чертовой матери! Вон на улицу — там и деритесь!

Один из плотников взял у Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал:

— Пошли, а то тут шум.

Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка.

— Мм, — простонал Ванька.

— Ничего, Иван... ему счас дадут. Больно?

Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу. Сел.

— Бубы...

— А?

— Бубы...

— Зубы разбил? От гад-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им... Встать можешь?

Ванька с трудом поднялся, сел на стул.

— Вина взять?

— Мм, — кивнул Ванька, — взять.

Аркашка подошел к прилавку.

— Здорово он его? — спросила буфетчица, наливая вино.

— Ничего, ему счас тоже дадут.

— А все ты разжег!.. Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы.

— Помолчи, — посоветовал Аркашка. — Возьми вон конфетку шоколадную и соси.

— Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!..

Аркашка взял вино и пошел к Ивану.

— На, выпей.

— Чего она? — спросил Иван.

— Ругается. Не обращай внимания. Пей — легче будет.

БЕССОВЕСТНЫЕ

Старик Глухов в шестьдесят восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки... Плакал. Говорил:

— Как же я теперь буду-то? Один-то?

Говорил — как всегда говорят овдовевшие старики. Ему правда было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, «как он теперь будет». Горько было, больно, и все. Вперед не глядел.

Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Не то что он — затосковал... А, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший (старших побило на войне), но он жил в городе, сын, наезжал изредка — картошки взять, капусты соленой, огурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов... Нет. Жалко, и грустно, и обидно, что родной сын — вроде уж и не сын, а так — пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты... Выбирал получше. Молчал, скрепив сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся он, скажи: плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то... А чего он, Ванька? Чем поможет?

Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такое дело.

И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.

Было это 9 Мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище — помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал:

— Гребцов Николай Митрофанович.

Гуляев Илья Васильевич.

Глухов Василий Емельянович.

Глухов Степан Емельянович.

Глухов Павел Емельянович...

Эти три — сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло, дышать было трудно. Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал:

— Опарин Семен Сергеевич.

Попов Иван Сергеевич.

Попов Михаил Сергеевич.

Попов Василий Иванович...

Тихо плакали на кладбище. Именно — тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: «Сколько народу загублено!»

И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. За то уважал, что их — преследуют, подсмеиваются над ними... За их терпение и неколебимость. За честность. Он присмотрелся к Отавиной... Горбоносая, дюжая еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть «казенный» хлеб — из магазина. И вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается... А?»

Пришел домой, выпил за сынов убиенных... И стал вплотную думать: «Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно... На стол — есть кому поста-

вить, есть кому позвать: «Садись, Емельян». Жилым духом запахнет в доме! Совсем же другое дело, когда в кути, у печки, кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить... Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, Отавиха-то, но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле, — хватит, наматерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты ни поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка». Так думал старик. Даже взволновался.

И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень, и любил красивую, горластую Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар, быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то сгинул. Где-нибудь с головой увяз в кровавой тогдашней мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухов попытался объяснить, что он — без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот — любил ее (он был выпивши). Любил. Что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло, давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая — не ихняя — любовь... И старик Глухов и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству: снег зимой придет разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает... Посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол... Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил Советскую власть.

— Ведь вот какая... аккуратная власть! Раньше как: дожил старик до глубокой старости — никому не нужон.

А теперь — пенсия. За што мне, спрашивается, каждый месяц по двадцать рублей отваливают? Мне родной сын — пятерку приедет сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть — легулярно — получи. Вот они, комиссары-то, тогда... они понимали. Они жизни свои клали — за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергевна, стать и почтить ихную память.

Ольга Сергеевна недовольно говорила на это:

— Сиди. Чего теперь?.. Нечего теперь.

Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее «накатывает» ночами.

— Вот накатит-накатит — все, думаю, смертынька моя пришла...

— А куда накатыват-то? На грудь?

— А — на всю. Всю вот так вот ка-ак обдаст, ну, думаю, все. А после рассла-абит всю — ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву-у куда-то, плыву-у, плыву-у.

— Да, — сочувствовал Глухов. — Дело такое — так и уплывешь когда-нибудь. И не приплывешь.

После того как старик Глухов схоронил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Чего-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде — пили чай с медом. Старик приносил в туеске мед. Беседовали.

— Тоскуешь? — интерсcовалась Малышева.

Глухов не знал, как отвечать — боялся сказать не так, а тогда Малышиха пристыдит его. Она часто — не то что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и семьдесят скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать.

— Тоскуешь?

— Так... — неопределенно говорил Глухов. — Жалко, конечно. Все же мы с ей... пятьдесят лет прожили.

— Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?

Глухов обижался:

— У меня три сына на войне погибли! А ты мне такие слова...

— Я ничего не говорю, — спускала Малышиха. — Они погибли за Родину.

— Тоскую, конечно, — уже смелее говорил Глухов. — Сколько она пережила со мной!.. Терпела. Я смолоду дураковатый был, буйный... Все терпела, сердешная. Жалко.

— Сознание, сознание... — вздыхала Малышева. — Тесать вас еще и тесать! Еще двести лет тесать — тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ей пятьдесят лет... Ну и что? И рассказать ничего не можешь. У меня в огороде бурьян растет... тоже растет. А рядом — клубника виктория. Есть разница?

— Ты чего сердишься-то? — не понимал Глухов.

— Есть разница, я спрашиваю?

— Сравнила... телятину с козлятиной.

— И буду сравнивать! Потому что один человек живет — горит, а другой — тлеет. У одного — каждая порочка содержанием пропитана, а другие... делают только свое дело, и все. Жеребцы.

— Не всем же комиссарами быть! — сердито возражал Глухов, обиженный за «жеребца».

— Пятьдесят лет прожил, — передразнивала Малышева. — А из них — неделя наберется содержательная?

— Ну, содержания-то, слава богу, хватало, чего доброго. С избытком.

— Оно и видно! — Малышева собирала губы в куриную гузку. — Жеребцы.

Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять чем.

И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда — так вот — поругивались, иногда ничего, мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно.

В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без ничего — без топора, без ножовки. Пришел поговорить. Посоветоваться. Пришел просить помощи.

— Я, Сергевна, за советом. Помоги.

— Что такое случилось? — навострилась Малышева. Она любила давать советы.

— Ты старуху Отавину знаешь?

— Ну.

— Поговорила бы ты с ей — не согласится ли она ко мне в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так: пускай пока заколотит ее, поживем — уживемся — тогда уж пускай продает. Чтоб не рысковать зря. Как думаешь? Я один не осмелюсь с ей говорить, а ты сумеешь. Я не обижу ее... На четырех-то ногах, хошь они у нас не резвые теперь, но все же покрепче стоять можно. Как думаешь? — Глухов непривычно для себя много и скоро тараторил — ему было неловко. — Думал я, думал и вот — надумал. Чижало одному, ну ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь?

Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное.

— Жениться собрался?

— Ну, жениться... это... какая уж это женитьба? Так — сойдемся для облегчения.

— Юридически — это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь?

Глухов опешил.

— Ну — жениться. А что, это не поощряется?

Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика.

— А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей...

— Не знает она! Вот и пришел-то просить: поговорила бы ты с ей. Где поговорила, где и — уговорила. Она старушка верующая, может, скажет — грех... А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая...

— У нее дочь в городе.

— Да это-то!.. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни-то. Кто первый помер — есть кому схоронить.

— У вас же дети! — вдруг нервно возвысила голос Малышева. — Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?

Глухов замолк. И в свою очередь внимательно и сердито посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Она же вся изозлилась. Чего?

— Ты чего, Сергевна? — спросил.

— Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь: чего я? Я-то ничего.

— Чего-то сердишься...

— Да нисколько! Вона, буду я еще сердиться. Женитесь! Поговорить надо с Отавихой? Поговорю, — теперь засуетилась Малышева, затараторила тоже. — Позову ее, и поговорим, мне не трудно. Узнаю: согласна она или нет? Чего же мне сердиться? Смеяться-то над вами, шутами, будут, не надо мной.

— Как так?

— Что?

— Смеяться будут?

— А что — радоваться?

— Да разве не бывает так — старики сходются...

— Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед... Я ее позову пораньше, обговорю с ей сперва, а ты попозже, к обеду, приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно! Я поговорю с ей, не беспокойся. Поговорю.

Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. Всех бы она переделала, перекроила... Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал: не вернуться ли да не сказать ей, что — не надо никакой ее помощи, сам как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И решил, что — ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно так не выйдет — не суметь ладом поговорить. Пусть злится, а дело пусть сделает.

На другой день у старушек — Малышевой и Отавиной — состоялось свидание. И состоялся разговор.

Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула в передний угол (нет ли иконки?), скромно присела на краешек плюшевого дивана. Поздоровалась.

— Я чего призвала тебя, — сразу начала Малышиха, — Глухова старика знаешь?

— Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сынов убило...

— Так вот он хочет на тебе жениться. — Малышева отчеканила слова, как семь аккуратных пельменей загнула. — Ты согласна?

— Свят, свят, свят! — перекрестилась Отавиха. — Да он что?!

— А что? — как-то даже развеселилась Малышиха. — Вы одинокие... Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни. Как сама-то думаешь? Избу, говорит, можно пока не продавать, можно заколотить; если уживетесь, тогда уж можно, мол, продать, а деньги — на книжку. Как думаешь-то?

— Да как я могу думать? — искренне не знала старуха Отавина. — У меня и думы-то все из головы убежали. Как же — с бухты-барахты — выходи замуж. — Отавиха мелко, искренне посмеялась. — Эдак-то рассудка можно лишиться. Вот так невеста!

— Ну, и он тоже — жених. Как все же?

— Да погоди ты, Сергевна, не колготись, дай с духом собраться...

— Он придет счас. За ответом.

— Эка! — Отавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села. — Вот задача-то!

— Ну, я гляжу, ты уж почти согласная.

Старуха Отавина вдруг серьезно задумалась.

— Я тебе так скажу, Сергевна: он старик ничего, не пьет, не богохульничает особо, я не слышала. Только... — Отавина посмотрела на сваху. — Так-то бы оно — што? Бывает — сходются старики, живут...

— Бывает.

— А ну-ка да он ночами приставать станет?

Малышева даже рот открыла.

— Как?

— А как? Так. Они знаешь какие! Перьво-наперьво я бы желала знать и быть в надежде, што он приставать не станет. И штоб не матерщинничал. Табак курит... Ну, тут уж... все курют, тут не укоротишь.

— Так ты согласная? — изумилась Малышева.

— Погоди-ка, не гони-ка коней. Я вот и говорю: много у меня всяких условиев получается. То — нельзя, это — нельзя... А старик подумает да и скажет: «Чего же тада и можно-то?» И все наше сватовство-то само собой и распадется. — Отавиха опять мелко засмеялась. — Вот не думала, не гадала... Господи, господи. Оно бы — так-то чего? У меня вон товарка моя задушевная бывшая в Буланихе, где я раньше жила, тоже вот так вот: пришел старик, тары-бары, а потом и говорит: «Давай, мол, Кузьмовна, вместе жить». И жили. Он, правда, уж умер года два как... А она живет в его доме. И хорошо жили, я знаю. Сколько?.. Годов пять жили. Ничо, не обижал ее. К концу-то жизни люди умней делаются. Счас вон... поглядишь на нонешних-то... господи, господи!.. Поглядишь и ничего не скажешь. Оно бы, знамо, и мне в покое бы дожить да в тепле... Избенка-то у меня вся прохудилась, рада, что уж зима кончилась — никак ее не натопишь. Топишь-топишь, топишь-топишь, а все как под решетом.

— А к дочери-то почему не едешь?

— Куда-а! Сами ютятся там на пятачке... Жила. Внуки-то маленькие были, жила. Измучились. Все измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли, так я уж рада-радешенька, хоть мне эту-то избенку купили. Свой-то дом в Буланихе я продала. Когда дочь-то замужто вышла, продала. Крестовый дом был, сто лет ишо простоит. Продала, што сделаешь. Им на капиратив надо, а где взять? Он с армии демобилизовался, зять-то,

моя тоже — техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила, ребятишек вынянчила, а потом уж — нет, давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну помялись, помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевше, вот я здесь и оказалась. Оно бы, конешно, так-то... на старости-то лет... в тепле бы пожить... Не мешало бы.

Старик Глухов знал, что разговор у старух состоится, но какой — не ведал. На всякий случай он надел новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой.

Пришел... Поздоровался. Смутился чего-то, поставил на стол бутылку, туесок... Полез за кисетом.

— Ты погоди с бутылкой-то, погоди, — сказала Малышиха. — Не торопись.

У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Отавиной, все продумал — выходило все хорошо. Что же?

— Выслушала я вас обоих... Конечно, это ваша личная жизнь, вы можете сходиться... Люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить: как вам не совестно? А? — Малышева бросала эти слова в лицо Глухову и Отавиной. С какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью, бросала. Бросала и бросала, как ни краснели, ни вертелись на месте, как ни страдали эти, потерявшие всякую совесть жених и невеста. — Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? Да люди всю жизнь живут одинокие... Я всю жизнь одинокая, с двадцати трех лет одинокая... А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили. Стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет, не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну-ка, скажи.

Глухов готов был сквозь землю провалиться.

— Я по дурости... выпимши был, — признался он. — Я не сватался... Чего ты? Зря-то. Я, мол, в те годы, когда-то...

— По дурости! А теперь он умный стал — в семьдесят лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то!.. «Посмотрю, подумаю... в тепле пожить». Эх ты, богомольница! Туда же... На других пальцем показываете — грех. А сами? Какой же вы пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед наро-

дом понимаете? — Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу. — Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет — трудится, а вы — со свадьбой затеетесь... на выпивку людей соблазнять и на легкие отношения. Бессовестные.

— Да какая свадьба?! — воскликнул Глухов. Отавиха, та слова не могла вымолвить. — Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?

— Совсем, как... подзаборники. Тьфу! Животныи.

— Ну, это!.. знаешь! — взорвался старик. — Пошла ты к... — И выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью.

А за ним следом вышла и Отавиха. Какой — вышли, вылетели, как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо одним переулком идти — до росстани.

Старик Глухов дал по селу хорошего кругаля и пришел домой. И плевался и матерился, места не мог найти... Сгоряча даже подумал: «Подожгу стервозу такую».

Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней зарекся. А когда встречал на улице, отворачивался. Не здоровался.

А Отавиха в город ездила, в церковь, — грех замаливать. Очень страдала старуха, встречаться с Малышевой избегала.

Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов и Отавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала.

КРЕПКИЙ МУЖИК

В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада — из церкви — вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные... И дегтярили, и химией обсыпали сбрую — грызут), метла, грабли, лопаты... И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка,

а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой.

Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

— Церква-то освободилась теперь...

— Ну.

— Чего с ней делать-то?

— Закрой, да пусть стоит. А что?

— Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

— Это ее разбирать — надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

— Я ее свалю.

— Как?

— Так. Тремя тракторами зацеплю — слетит как миленькая.

— Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы — на углах и посреди стены — девять бревен...

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, — крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей — вроде и не слышал их и не видел.

— Николай, да тебе велели али как? — спрашивали. — Не сам ли уж надумал?

— Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

— Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

— Вон отсудова, пьяная харя!

Михайло удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался «пьяной харей». Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли...

Сейчас взревут тракторы и произойдет нечто небывалое в деревне — упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса:

— Николай, кто велел-то?

— Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

— Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин — ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело — видела: что-то непонятное творится с мужем — подошла.

— Коль, зачем свалить-то хочешь?

— Воп отсудова! — велел и ей Шурыгин. — И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время — побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд «на исполнение работ».

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

— Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

— Не суйтесь не в свое дело, — сказал Шурыгин.

— Это мое дело! Это народное дело!.. — Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: — Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

— Ответишь за убийство! Идиот...

Тракторы остановились.

— Уйди-и! — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

— Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

— Давай! — крикнул он трактористам.

— Становитесь все под стену! — кричал учитель всем. — Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

— Давай, какого!.. — заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги.

— Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали.

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно — ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Земля вздрогнула, как от снаряда, все заволокло пылью.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви.

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них.

Шурыгин остановил тракторы. Начали по новой заводить тросы.

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки.

Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

— Все, угорела! — весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

— Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича — кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком — крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели — кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

— Видела, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный.

— Дурацкое дело не хитрое, — не скрывая злости, сказала продавщица.

— Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться.

— Мешала она тебе, стояла?

— А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

— А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот.

— Халява! — тоже обозлился Шурыгин. — Не понимаешь, значит, помалкивай.

— Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот счас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

— Дай бутылку.

— Иди промочи горло-то, — заговорили сзади. — Пересохло!

— Как же — пыльно!

— Руки чесались у дьявола...

Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их — какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

— Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: «Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли».

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут — вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и... — Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно: — И нечего ей стоять, глаза мозолить».

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки:

— Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз — тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не

будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочуриєся в одночасье, то ли где лесиной прижмет невзначай...

— Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

— Да грех-то какой!

— Ваську Духанина прокляли — он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал...

— Тада время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал — рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват — узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый.

— Ладно, лежи хворай.

— Глаз теперь не кажи на люди...

— Хоть бы молиться ходили! А то стояла — никто не замечал...

— Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее — вроде уж дома. Она сил прибавляла...

— Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне — ни один черт не охнет, а тут — загоревали. Переживут!

— Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил. «К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется, — подумал. — Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу, и пусть крапивой зарастает».

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось — не мог. Попросил жену:

— Сходи возьми бутылку.

— Пошел к черту! Он теперь дружок тебе.

— Сходи, прошу...

— Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

— Заткнись. Туда же...

— Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная? Просили, всем миром просили — нет! Вылупил шары-то свои...

— Замолчи! А то опояшу разок...

— Опоять! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

«Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все».

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

«Семнадцатый век, — вспомнил Шурыгин. — Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши».

Шурыгин наддал газку... И пропел громко, чтобы все знали, что у него — от всех этих проклятий — прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!
Я солдат девятой роты,
Тридцать первого полка...
Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

ВЕРУЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась целовать.

— Опять!.. навалилась.

— О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина; она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай — матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его зло блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить — все равно что об стенку головой биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на

коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну, и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму. Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... А я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него — что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так. — Поп выпил и промокнул губы крахмальной скатерью, уголочком.—Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай.—Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понужай, ибо не запрег еще. — Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко и безответственно. — Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

Поп налил еще себе и Максиму. Кивком головы пригласил выпить.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... — Поп выпил спирт, промокнул скатертью губы. — Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил. — Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Мы ведь какого бога себе нарисовали? — доброго, обтекаемого безрогого, размазню — телю. Ишь мы какие!.. Такого нет. Есть суровый, могучий — Жизнь. Этот предлагает — добро и зло, вместе, — это, собственно, и есть Бог. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим Богом, я говорю: душа

болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. — Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. — Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На Кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Въелся горячим злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь! — показал он свою ручищу, — надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Ну — ножом пырну. Я могу.

— Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

— Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже его погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот, жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длиннее, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви... как заведут...

— У нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда — защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Да. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец!.. Слушай сюда!

— Не хочу! — плакал поп.

— Слушай сюда, колода!

— Не хочу! Ты слаб в коленках...

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

— Молись! — Поп встал. — Повторяй за мной...

— Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим. Ему очень понравилось это слово.

— Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

— Ве-ру-ю-у!

— Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

— Верую-у!

— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал, и нахлопывал себя по бокам и по груди:

Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па — два!
Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

У-тя, у-тя, у-тя — три!
Верую, верую!
Е-тя, е-тя — все четыре!

— За мной! — восклицал поп.

Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.

Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на — пять!
Все оглобельки — на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «И-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведывать, отдохнуть. Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали

в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокой-

но, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепологией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!.. — посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. — Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения. — Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. —

Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то?! — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма. — Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сказал Глеб. — Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче, — еще сказал Глеб. — Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то показал руками замысловатое, — танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат. — И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел

на всех. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так. — Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. — Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это вёдь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. — Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю.

Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб, — не знаю, как это называется, — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал. — И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник, — сказал кандидат, обращаясь к жене. — Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя. — В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете. — Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. — Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый

народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа. — Глеб усмехнулся и, не торопясь, вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет) спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

СИЛЬНЫЕ ИДУТ ДАЛЬШЕ

Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие — поседевший Байкал сердито шумел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.

На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе как таковом, а о том, что это... похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть, так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

Очкарики... Все образованные, прочитали уйму книг... О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого — в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом — что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, — никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде...

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька — это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он — выпивоха. Вот тоже — показали на человека — выпивоха... А почему он выпивоха, что за причина,

что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой — выпивоха, и все. А Митька... Митька — мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы — искать золото и ртуть. Мечтал... Много мечтал. Все мечтают, но другие — отмечтали и принялись устраивать свою жизнь... подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя — великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он — с упорством неистребимым — мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были — одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку... Травка — так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить... рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево рак легких, рак печени, рак матки — лечит злой, омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему еще при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему — запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно» — «Подождать» — «Подождать» — «Можно» — «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что... Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается. «Вы по ней ходите». — «Скажи!» — «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй

этаж спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы... На подоконнике — увлажнитель с «Шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он?

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине. — Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!.. — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. — Не дано.

Вот это вот только и знают люди — бред, глупости. И еще — всякие «хохмы» про Митьку. Вроде этой.

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важничает: «Я — сезонник»). Однажды он пришел в поселок среди лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке — уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол свой вещмешок, подошел к прилавку, бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал:

— Мне триста штук презервативов, пожалуйста.

Ну, замешательство... Аптекарша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот «сундукявичус», как его прозвали в одной партии, опять:

— Триста презервативов. И счет.

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен «отмочить хохму».

...Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак...

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете.

Митька даже не посмотрел на очкариков. (Там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака.) Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень,

сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки. (Девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — И нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна: — Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— ...авай! — орал Митька. — Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнул высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой, закашлялся. А «роднуля» все накатывал, все настигал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкал вглубь.

— ...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру-сы спали-и! Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!

— ...у-у! — орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку! — забегали на берегу. — Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками Митька теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками. — Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то! — волновались на берегу.

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов. Николай верно говорил.

— Трепач-то! Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?!

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот... Митька был без трусов, и девушка просила издали:

— Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать.

— Ты лучше беги в магазин, — попросил один из тех, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы. — А то пропадешь к черту... с этими моржами.

— Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как без трусов не считается?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди подержи голову.

— Да ну, какие-то!.. Ну наденьте же штаны, ребята!

— Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой!

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго, Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, — вскочил, схватился... там где носят трусы... Очкарики засмеялись. Митька вскочил — и бегом по камням, прикрывая руками стыд. Добежал к своей одежде, схватил,

еще три-четыре прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин — покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

— Зря он сбежал! — сокрушались. — Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

— Все дело в трусах...

— А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион?

Беззаботный народ, эти очкарики! Шляются по дорогам... Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы... Но вернемся к Митьке.

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твои, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Полторы тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки — «транс». Митька наскочил на новый сюжет.

— Господи!.. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак-человек, — с искренним со-

чувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет. — Женисся — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало.

— Ладно, ладно, — сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь.

— Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить — безопасней.

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже расталкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравиться людям — пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппен-

дицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию, — писал он как-то товарищу своему. — Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура,—думал.—Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!» Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, — весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном: вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслуши-

вался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
  Удар — закон.
  Удар — конец.
  Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, что достало мудрости обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич, — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, — я вас прекрасно понимаю. Да. Да!.. Пятнадцать листов!

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение — засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас. Что вы все боитесь нас, как... не знаю. До свиданья — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады», — удивился Солодовников. — И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич... — Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо! — тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле? — спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник. — Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то случилось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар — закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев из операционной практики

в условиях сельской больницы. В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, — и — легко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиде на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна. — Записки-то. Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал, — Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. — Извините, — сухо добавил он, — больше этого не случится. — Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, — подумал он. — Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников. — Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здрассте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

— Да, да, — вспомнил Солодовников. — А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит. Хотите оперировать?

— Да, — твердо сказал Солодовников. — Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так, — молвила Анна Афанасьевна. — Ну, что

же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем, это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. — Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача.

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». — «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна».

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время начало работать на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему — за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну, а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, пока не было.

— Вы, это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпа в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой крик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

— Я хотел под бок себе...—поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно.—Немного—вот столько—под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников. — Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач... — Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. — Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездиют.

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного. Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик. — Чего же пустой пошел?

— Да не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. — Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было», — зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось

Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот, — решил директор. — Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет...

— Мало ли чего мы хочем! Я, может, хочу... — Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал па листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махпул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь иптересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — пе понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

— Не соберутся, — просто, без всякого выражения сказал директор. — Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листов?! А где? У меня нету. — Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. — Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников. — Они же договорились...

— Кто?
— Главврач и ваш директор.
— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет. — Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять. — А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...
— Как же быть? — спросил Солодовников.
— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним. — Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача. — Простыл к черту, — доверительно, совсем не сердито сказал он. — Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.
Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.
— Нет железа?
— Есть. Для других. Для вас — нету.
— А телефон тут есть где-нибудь?
— Зачем?
— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?
Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:
— А полегче, например, — это как, можно? Без гонора. Мм?
— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. — Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?
Морозов пошел под навес, снял со штабеля толь — там было листовое железо.
— Отсчитывайте пятнадцать листов, — спокойно сказал Морозов, — а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.
— Солодовников Георгий Николаевич.
Морозов записал.
— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.
— Отвечу.
— Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего, — сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете, — сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал толью штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников. — В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, — стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки

тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников... Она в районе. А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здоровался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть, — думал Солодовников. — Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя... Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

ПЕТЯ

Двухэтажная гостиница городка «Н» хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво...

Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к две-

рям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей.

Он живет напротив, в длинном, низком строении; окно моего номера выходит к ним во двор.

Петя — маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть — вперед... Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю.

Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в десять, отоспался—свеженький. С ходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку... Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так—в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах,—возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело: в субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает—все бьет каких-то невидимых мошек, комариков... и разглядывает их. А то вдруг—ни с того ни с сего—шлепнет ладонью по груди и потом долго, блаженно растирает грудь.

— Лялька, полотенец! — кричит Петя, кончив плескаться.

Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая. Громко, показушно уважает мужа.

— Слышь?!

— Оу?!

— Полотенец!

— Несу-у!

Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то.

Лялька вынесла полотенце.

— Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? — Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. — Я предлагаю голубенькую...

Петя не спеша вытирает руки, плечи... И думает.

— Голубую.

— Правильно. Она тебя молодит. — И опять глазами — зырк-зырк. О, эта Лялька видала виды.

Петя вытирает лицо; Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пузцо! Молодое, кругленькое — этакая аккурат-

ная мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня — пусть все видят, что человек живет в довольстве.

— Какие запоночки дать: с янтаря или серебрушки? — озабочена Лялька.

Петя опять некоторое время думает.

— С янтаря.

Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что Лялька — буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут: сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака?.. Не знаю, но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает.

— Петя! — кричит она, высовываясь из окна. — Галстук будешь одевать? А то я его поглажу...

Петя опять в затруднении.

— Та-а... не надо, — говорит он.

— А почему? Он же тебе очень идет.

— Гладь.

— Какой, красный?

— Красный.

Лялька уходит гладить красный галстук.

Петя, по незабытой еще крестьянской привычке, трогает штакетник, шатает. Кое-где пооcлабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой — от плеча к груди.

— Петь!.. — Лялька опять в окне. — Ты помнишь, как эта... вокруг тебя увивалась-то? «Петя, давайте я вам холодцу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?» Лярва...

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что — увивались.

— Она сегодня опять будет. Смотри; не сули ей ничего! Ей шиферу надо, лярве.

Петя провел толстой, короткой ладонью по волосам.

— Ты про кого?

— А эта... не знаю, как ее фамилия, знакомая Колмаковых. Все летку-енку-то танцует.

— А-а, — вспомнил Петя. — А чего она хочет?

— Шиферу.

— А в нос не хочет? — Петя смеется молча, весь: животик смеется — как-то прыгает, подбородок смеет-

ся, загривок — тоже смеется — напряженно лоснится и дрожит.

Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет, — мелко, часто и не смешно.

Отсмеялась и еще раз напоминает:

— Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый.

— Я-то слабый? — Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.

— А у Маковкиных-то в прошлом году — помнишь? — Лялька опять просыпает горсть бобов — смеется. — Отливали-то...

— Та-а...

— Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же разнесет потом: «Мне Петя шиферу посулил!»

— Да ну, что я?..

Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком, — видно, разохотился поработать, решает, что бы еще прибить.

А Лялька то и дело высовывается из окна.

— Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще «Очи черные» были...

— А что?

— Где она?

— Не знаю. А что?

— Хочу взять ее. Может, споем. Чтобы она заткнулась со своей леткой...

— Нет, «Очи» нам не потянуть.

— Подпоем! Я вытяну.

— Не знаю... Там где-нибудь.

Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком.

— Нашла! Петь!..

— А?

— Нашла! Она сегодня заткнется... Я плечами трясти умею. Ты не видал?

— Нет.

— Счас... — Лялька на минуту исчезла... И вновь появилась — в цветастой шали, наброшенной на плечи. — Смотри! — И стала трясти плечами — по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась — туда-сюда. Смотреть неприятно.

— Не вывихни кости-то, — сказал он. И поколебал животом — посмеялся.

— Получается? Петь...

— Получается.

Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы, отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю.

— Петя!

— Ну?

— Тебе воды погреть — бриться?

Петя потрогал подбородок...

— Погрей.

— Погорячей сделать?

— Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?

— Какого Михеева?

— Из потребсоюза Михеев... Я ему еще обсадных труб тридцать пять метров доставал. С шампанским както приходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали долго...

— А-а, Михеев! Лысый такой?

— Ну. В пятницу звоню ему: мне надо было два гарнитура достать одному там — помоги, мол. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, думаю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься.

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась.

— Ты вот какой-то... Петя, ты пошто такой есть-то? Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются... Сволочи! Ты будь маленько... это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать. В лепешку готов расшибиться! А они потом нос воротют, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!..

Петя принахмурился, отвернул голову... Вроде виноват. Виноват: добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...

— И обо всех у тебя душа болит, обо всех! Об себе только не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит — думает, думает!.. — Лялька поддала в голосе — это тем, кто во дворе, кто может слышать. — Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка чё есть-то!..

Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике, освоились. Однако прихватили они

с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет.

Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры — пошли в гости.

Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно, человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам — медленно, враскорячку — костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать: пузцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой.

Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку... Ветерок дергает ее, она не отцепляется. Трепещет, шумит листочками...

Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора.

— Кака уважительна бабочка-то, — говорит старушка сама с собой, — цельный день только и слыхать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи. Дружная парочка...

Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются.

Петя слегка того... отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.

— Пойдем, Петя, Петенька! — зовет Лялька.

— Не хочу, — говорит Петя. — Не желаю.

— Петя!.. — чуть не плачет Лялька. — Я уж и так смучилась, ты вон какой тяжелый. Пойдем, Петенька. А? Пожалел бы меня... Пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку — и баиньки, и баиньки. А?

— Не хочу, — гудит свинцовый Петя.

— Пойдем, Петенька. Ну-ка — от-теньки — поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и. Ненаглядный ты мой...

Кое-как увела Петеньку.

— Покуражился маленько и пошел, — понимающе говорит старушка. — Славная парочка, дружная. Дай бог здоровья.

А меня вдруг пронизала догадка: да ведь любит она его, Лялька-то. Петю-то. Любит. Какого я дьявола гадаю сижу: любит! Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает — все потому, что — любит. Ну, и... дай бог здоровья! А что?

САПОЖКИ

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка, спросил весело:

— Это сколько же такие пипеточки стоят?

— Какие пипеточки? — не поняла продавщица.

— Да вот... сапожки-то.

— Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей.

Сергей чуть вслух не сказал: «О, ё!..» — протянул:

— Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Правда, она их беречь будет... Раз в месяц и наденет-то — сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а — посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить — надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки, чего стоят. А ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: на работе или выпьешь с кем — все легче маленько, а ведь они с утра до ночи как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «повторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая

заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь — зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, — а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки — возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты — чего-ничего, а надеть можно. А тут — один раз в жизни...

Сергей пошел в магазин.

— Ну-ка дай-ка их посмотреть, — попросил он.

— Чего?

— Сапожки.

— Чего их смотреть? Какой размер нужен?

— Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

— Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

— Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

— Ну и нечего их смотреть.

— А если я их купить хочу?

— Как же купить, когда даже размер не знаете?

— А вам-то что? Я хочу посмотреть.

— Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть...

— Ну, вот что, милая, — обозлился Сергей, — я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

— А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают...

— Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

«Нога-то в нем спать будет», — подумал радостно.

— Шестьдесят пять ровно? — спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! — изумился Сергей. — Прямо ненавидит. За что?»

— Беру, — сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уж отмякла, что ли,—не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки.—Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

— В кассу.

— Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, — так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», — пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Смотрела на Сергея... Сергей опять посмотрел ей в глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

— Я прошу сапожки. Мои.

— На контроль, — негромко сказала она.

— Где это? — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела на него.

— Где контроль-то? — Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. — А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, — женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! — подивился он на себя. — Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит — вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Ви-

дели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза его оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали «Рашпиль»). — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих... как их?.. У апостолов — не у апостолов, а у этих... как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»! Во, пень-то дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим.

— Когда оклад пятьсот рублей, можно верить. Я бы и то верил.

— Ты бы верил!..

Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолкли.

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшиперивали голенище и заглядывали в белый, пуши-

стый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воскликнул Рашпиль. — Серьга... дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: «Половина мотороллера».

— Она тебе велела такие сапожки купить?

— При чем тут велела? Купил, и все.

— Куда она их наденет-то? — весело пытали Сергея. — Грязь по колено, а он — сапожки за шестьдесят пять рублей.

— Это ж зимние!

— А зимой в них куда?

— Потом — это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж — ей на нос только.

— Какой она носит-то?

— Пошли вы!.. — вконец обозлился Сергей. — Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

— Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

— Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

— Она тебе, наверно, резиновые велела купить?

— Резиновые... — Сергей вовсю злился. — Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?

— Больше тебя.

— Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. — Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?

— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И все. И не надо так нервничать...

— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взай-

мы взял, или что... Сидит, курва, переживает... аж нос посинел.

— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

— Иди свой нос приведи в нормальный вид.

— Пойдем вместе? Сапожки обмоем...

Еще немного позубатились и поехали домой.

Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

— Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.

Клавдя и девочки вечеряли.

— Чего это долго-то? — спросила Клавдя. — Я уж думала, с ночевкой там будете.

— Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.

— Чего? — По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек... «Пойду тогда и брошу их в колодец».

— Ну, чего-нибудь. Ничего?

— Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

«Какой-то я не хозяин в доме получаюсь, — подумал в этот миг Сергей. — Прямо обмер сижу, язви тебя совсем. Чего уж так?»

— Вон, в чемодане. — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так взволновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола... Заахали, заохали.

— Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?
— Тебе, кому.
— Тошно мнеченьки!.. — У Клавди с ноги полетел тапок. Она села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.
— Какой размер-то?
— Тридцать восьмой...
Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.
— И размер-то мой...
— Вот где не лезут-то. Голяшка.
— Да что же это за нога проклятая!
— Погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.
— Да кого там! Видишь?..
— Да...
— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!
Возбуждение угасло.
— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Сколько они?..
— Шестьдесят пять. — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.
Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы... Нет, она слышала цену.
— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то... Эхма!
В сердце Сергея толкнулась непрошеная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.
— Ну, Груша, повезло тебе. — Она протянула сапожок дочери. — На-ка, примерь.
Дочь растерялась.
— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.
Клавдя засмеялась.
...Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на чистенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал. Не думал, а еще раз переживал сегодняшнюю покупку,

постигал ее нечаянный, большой, как сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

— Ну, иди... — позвала она.

Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?

— Сергунь! — ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно. Не в сапожках. Дело в том, что... Ничего. Хорошо.

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели—случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кои-то веки! — сказала озабоченная «мамка». — Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там, за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей, тете, показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут... Но он даже не успел и подумать-то так — обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плóтют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает. «С похмелья!» Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте, — спокойно сказала тетя.

— Где на месте? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. — Директора ему подайте! Директор на работу

пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора — стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая, — сказала Маша.

— Она не плохая, она... — Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что — при всех! — надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор, — сказала другая тетя, в кабинете. — Я — завотделом. А в чем дело?

— Понимаете, — начал Сашка, — стоит... и начинает — ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее, — посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я, мол, чего-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое — выясним, — сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка — появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое?—негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят

и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, — Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот... и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел еще. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка. — Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был!

Между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит там: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди. — Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит, — не был он в магазине! Вас тут каждый

вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что — бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте, — сказали Розе из очереди. — Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут...

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие, — сказала Маша.

— Да, дяди... тети... — пробормотал Сашка. — Мгм... — Он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству?! Угодить во что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине...

— Иди проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Зáговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотáла на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить лишь после того, и говорила, что дяди и тети — «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но тут же и расхотелось.

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке, в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверно, знают...

«Схожу! — решил Сашка. — Поговорю с человеком. Объясню, что правда же, эта дура обозналась — не был я вчера в магазине, зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

— Ладно.

...Один парнишка узнал по описанию:

— Из тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — сразу заговорил Сашка, — я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный.

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить. — Чукалов все держал Сашку за рукав, а обращался к сыну.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не убегу, — попросил Сашка. И улыбнулся. — Я ж сам пришел.

— Пусти его, — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело, — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. — Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под руку. Так?

— Да почему?

— Специально дожидался меня у магазина... — подсказал старший Чукалов.

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал, — раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее,

протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, побежал. В прихожке у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот, довозмущался! Теперь бегай — унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был отпуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет... тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена — простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Что?

— Ты опять захотел?! Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? Мне Маша сказала, какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо — через все — проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога, — взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем домой, там малышки

ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай. — Вера взяла мужа за руку. — Неужели тебе нас-то не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку...

И покорно пошел домой.

Эх-х.. Трясуны мы, трясуны!

ХМЫРЬ

Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все смотрели в окна, любовались пейзажем... А двое, на заднем сиденье, совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом.

Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, курносый, стареющий хмырь... Такие, курносые, с круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутками, начинают приставать к молодым женщинам, и все громко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так надо. Можно представить, как смутился бы этот, на заднем сиденье, если бы ему сейчас сказали: «Слушайте, это же глупо, скучно, пошло». Но... робким везет: не попал же он на такую! Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убежден, что все у него выходит остроумно, весело, непринужденно. Эта, на заднем сиденье, понимала все именно так. Эта... назовем ее молодая Здоровячка, эта от души кокетничала, хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но... не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такого вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и тоже может нравиться.

Хмырь начал с того, что пересел к ней с переднего сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней,

не скрывая того, а, напротив, как бы говоря своим веселым видом: «Пошел охмурять. Следите». Сел.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказала Здоровячка, немного удивившись.

— Почему в одиночестве?

— Почему?.. Я смотрю.

— Так это без толку — так смотреть. Красивые места надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь... — Хмырь поначалу еще пулял туда-сюда взгляды — все приглашал посмотреть, как он охмуряет. Но Здоровячка так легко, охотно пошла навстречу соблазну, что Хмырь, удивленный и обрадованный, перестал обращать внимание на других. Скоро им обоим стало хорошо.

— Нет, вы говорите неправду.

— В чем же это я говорю неправду? Докажите.

— Спорим.

— Хи-хи-хи... Спорим. На что?

Хмырь секунду, две, три думал... И завернул:

— На американку.

— Как это?

— Кто проиграет, тот... В общем, если я выспорю, я что хочу, то и делаю, если вы, то вы. — Тут Хмырь, несколько ошалелый от собственной дерзости, посмотрел на всех, но как-то смутно, неопределенно. — Ну?

— Ох вы какой!

— А что? Ну что? Что? Боитесь?

— Ничего я не боюсь!

— Боитесь, боитесь. Эх вы!..

— А чем вы докажете?

— Чего «докажете»?

— Что одиноким хуже.

— Нет, давайте на американку, тогда докажу.

— Ох вы какой!..

— Ну какой? Какой? Я обыкновенный, но одиноким хуже, я вам докажу. Давайте?

— Нет, вы так докажите.

— Нет, так неинтересно. Так... чего так? А вот давайте на американку.

— А что вы сделаете?

Этот паша на заднем сиденье опять некоторое время думал. Он даже завозился на месте.

— Что я сделаю? Что я сделаю?

— Ну?

— Не скажу.

— Нет, скажите. А то так...
— А что «так»?
— Так опасно.
— Да ничего не опасно!
— Нет, докажите просто так, без американки.
— Только на американку.

Хмыря уже ненавидели в автобусе. Один какой-то старенький интеллигентный ревматик сказал себе и соседу рядом, огромному мужчине с юбилейной медалью:

— Прямо максималист какой-то: все или ничего.
— А?
— Да вон... максималист сидит.
— Он не максималист, какой максималист. Он прохвост. — Огромный мужчина не оглянулся на заднее сиденье. — Таких учить надо.
— Бесполезно, — сказал старичок.
— И эта... дура... — Громадина с медалью качнул укоризненно головой.

А те двое, забыв все на свете, не чувствуя ненависти к себе, трещали и трещали. Хихикали. Играли.

— В кино идете сегодня? — шел дальше Хмырь. — Мм?
— Иду.
— Идемте вместе?
— А что вы, один дорогу не знаете?
— Нет.
— Знаете... Притворяетесь только.
— Да не знаю, я серьезно говорю!
— Ой?..
— Неужели вам трудно дорогу показать?
— Хорошо, дорогу я покажу. А билеты будем отдельно брать. Да?
— Хорошо. Вы на какой ряд будете брать?
— Ишь вы какой!.. Хи-хи-хи!

Хмырь тоже счастливо рассмеялся:

— Какой?
— Хитрый.
— Не хитрый, а одинокий. Вот я вам и доказал, что одиночество — это плохо. Видите, я все средства пускаю, чтобы не быть одинокому.
— Я этому одинокому сегодня по шее дам, — тихо сказал огромный человек старичку.
— Не надо, что вы! — запротестовал старичок.
— Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не увидит.
— Не надо. Зачем?

— Не могу слышать... Прямо тошнит.

Старичок потянулся к уху соседа и сказал, изумленный:

— Ей же нравится!

Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать на это.

— И потом, как вы ему по шее дадите? За что?

— За наглость. Что жену обманывает на курорте...

— Ну... это, знаете... Нет, нельзя. Что вы?!

— Он же прохвост!

— Нет, давайте так: я беру два билета, на себя и на одного моего знакомого товарища, и жду вас возле кинотеатра. Вы приходите... И мы проходим в зал и садимся вместе.

— Почему вместе?

— Да потому что нет у меня никакого товарища!

— Ишь вы какой!

Опять смех.

— О-о! — застонал громадный мужчина. — Уши вянут.

Старичок, его сосед, тихонько засмеялся.

Мужчина повернулся к нему, удивленный. Старичок уткнулся в ладони и хохотал. Отсмеялся и снова потянулся к уху удивленного соседа. Зашептал:

— Вы слушайте, слушайте — это же ужасно смешно.

— Что тут смешного? — тоже шепотом, серьезно спросил огромный человек.

— Да смешно! Что вы? Очень смешно, слушайте.

— Интересно, как это вас жена отпускает одного на курорт? — поинтересовалась Здоровячка.

— А что? Вы не отпустили бы? Между прочим!.. — воскликнул Хмырь. — А как это вас муж одну отпускает?

— У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задерживает. А вот как вас отпускают?

— По той же самой причине.

— По какой?

— Да по той же самой.

— Нет, по какой, по какой?

— Да по той причине, что у меня нет жены...

— Слушай, хмырюга!.. — повернулся назад огромный мужчина. — С кем это мы вместе на почте были, и кто давал жене телеграмму, чтобы денег выслала?

Хмырь даже как-то испугался... Растерялся и испугал-

ся. Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью.

— Какую телеграмму? — спросил он.

— Да насчет денег, — жестоко выдавал большой мужчина. — Я еще сказал: «Уже?» — мол, запросил денег? Кто мне сказал: «Мы с ней договорились: я возьму только на дорогу, а потом она мне пришлет по почте»? Это не ты был?

Хмырь посмотрел на всех... И что-то такое увидел сильное, страшное, что молча, не взглянув на соседку, поднялся и пошел вперед, на свое место. Сел... Посидел, глядя прямо перед собой... Покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся к окну и стал тоже, как все, внимательно смотреть на пейзаж. Шляпа его была ему несколько великовата и от тряски съезжала низко на лоб, некоторое время Хмырь смотрел в окно, приподняв кверху маленький, с нашлепочкой нос, он смешно торчал из-под шляпы... Потом Хмырь догадывался сдвинуть пальцем шляпу назад, пока она снова не наезжала на глаза.

— Черт возьми!.. — с досадой, тихонько сказал старичок-ревматик огромному соседу. — А теперь его жалко.

— Кого? — не понял сосед.

— Да вон его... в шляпе.

Сосед посмотрел вперед... Хмыкнул. Сказал тоже шепотом, весело:

— Я ему еще по шее разок дам. Когда приедем. Чтоб он не врал тут.

Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался — стыдно, что ли, или жалко тоже. А старичок огяянулся... И тотчас отвернулся, поерзал немного и пристукнул кулачком по колену.

— Не надо, не надо было!.. Зачем? Пусть бы уж...

— Чего ты нервничаешь-то? — спросил большой мужчина.

— Не надо было! Зачем... помешали?

Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на старичка.

— Ты что?

— Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж... веселились, как умеют.

Большой мужчина ничего не сказал. Посмотрел на курносого Хмыря, потом — осторожно — назад... Пожал плечами. Он ничего не понял. И стал опять смотреть в окно — на пейзаж.

ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым банным дымком.

— Кизяки нынче не думаешь топтать? — спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

— На кой они мне...—лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

— А я не знаю, что делать. Топтать, что ли...

— Наплавь из острова да топи.

— Не знаю, что делать... Может, правда, наплавить.

— Конечно.

— Ты будешь плавить?

— Я, может, угля куплю. Посмотрю.

— Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову...

— Хошь расскажу, как меня хоронить будут? — Чуть сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался серьезно.

— О! — удивился сухой, смуглый. — Ты что?

— Хошь?

— А чего ты... помирать-то собрался?

— Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

— Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? — еще спросил тот, помоложе.

— Значит, будет так: помер. Ну, обмыли — то, се, лежу в горнице, руки вот так... — Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка. — Жена плачет, детишки тоже... Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: «Интересно, позовут на поминки или нет?»

— Ну, слушай! — обиделся смуглый. — Чего уж так?

— Я в шутку, — сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно: — Ты будешь стоять и думать: «Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так...»

— Так все думают.

— Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают: «сокол», «голубь»... Почему так?

— Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: «ноженьки», «рученьки», «головушка». «Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке». А у кого есть сорок пятый размер — тоже ноженьки!

— Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

— Ну а дальше?

— Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей сама заплатит, тридцать — с моих выжмет. А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

— Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить...

— Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки. — Рассказчик засмеялся негромко.

Молодой не засмеялся.

— Но когда сядут и хорошо помянут — поговорят про покойного, повспоминают — это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: «На кой он мне?»

— Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они... уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко...

— Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не найдется?

— Найдется. Ну и что?

— Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут скидываться-то?

— Я же не скажу ей из гроба: «Заплати сама!»

— Из гроба... Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись... Ну, та плачет, конечно, когда ей капают, — больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

— Но капать-то надо.

— Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит «не плачь!». Как же не плакать?

— Да... — Николаю, рассказчику, охота дальше рассказывать, как его будут хоронить. — Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова...

— Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

— Наверно...

— Я Стародубову Ефиму копал... Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то: я любил старика. И не позвали. Понял?

— Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал...

— Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала... Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне... Хотел матом послать, но думаю, горе у людей...

— А кто совал-то?

— Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика...

— Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе...

— Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать — там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего...

— Спасли? Телка-то.

— Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

— Я его мало знал. Знал, но так... Он долго хворал?

— Нет. У него сперва отнялись ноги... Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить... Заталдычил: «Везите домой, дома помру». Интеллигент нашелся — няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

— Ну, каждый раз убирать за имя — это тоже...

— А как же теперь? Он и так уж старался поменьше исть, молоком больше... Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

— Оно конечно.

— Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще...

— Его без оркестра хоронили?

— Какой оркестр! Жадные все, как... Сын-то инженером работает, мог бы... Ну, копейка на учете.

— Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? — сказал рассказчик, хозяин бани.

— А тебе?

— Чего?

— Тебе нужен?

— И мне не нужен.

— Никому не нужен, но все же хоронют с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

— Бережливые, — поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кивнул головой.

— Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то — «не надо оркестра, я его все равно не слышу». Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя — два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это... Игранул скулами. Заговорил негромко, с напором:

— Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить...

Иван достал пачку «Памира», закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой.

— Вот видишь, из тебя и полезло. Баню пожалел...

— Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

— Ты же знаешь, мне не на чё пока тёсу купить.

— Да у тебя сроду не на чё! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

— А что тут плохого? Пускай играет.

— Видишь, ты хочешь перед людями выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню топить. На баян он нашел денег, а на тёс — нету.

— Мда-а... Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! — Иван поднялся. — Я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди... Понял?

«Куркуль» не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

— Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

— Как это?

— Морковка у меня в огороде хорошая — ему глянется...

— Врешь ведь? — не поверил Иван.

— А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму... — Сидящий снизу нехорошо, зло глянул па стоящего. — А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту.

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

— Да-а, — сказал он, — такой, правда, за две морковки изувечит.

— Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут.

— А ты сам в детстве не лазил?

— Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

— Ну и зверье же!

— Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом...

— Тьфу! — Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: — Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду...

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными, презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать. Сказал:

— Придешь. Там же выпить дадут... как же ты не придешь. Только позвали бы — придешь.

— Нет, не приду! — серьезно, с угрозой сказал Иван.

— А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюй.

— Куркуль.

— Иди музыку слушай. Вальс «Почему деньги не ведутся». — Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.

ПИСЬМО

Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а — пустому углу: иконы-то в углу нету. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время... Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет — молчит целыми днями... Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить... Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

— И-и, матушка, — запела богомольная Ильичиха, — дак, а у тя иконка-то есть ли?

— Есть. Она, правда, в шифонере...

— Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

— Да жду своих, Катьку-то, сулились... А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.

— Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону...

— Да закону-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ишо...

— Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запятила! Бесстыдница.

— Да не ездит никто, оно и дела никому нет, — с

сердцем сказала Кузьмовна. — Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.

— Знамо, татаркой-то не живу, — обиделась Ильичиха. — К ей люди ездиют!.. Гляди-ко, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.

— Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

— Да вы вон нарожали их, а толку-то?

— Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысел был, я их ростила да учила старалась... А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь.

— Это вы — наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный...» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать — не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были... Куркули.

— Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

— Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!

— А ты чё гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому — они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.

— А вы!..

— А вы!..

Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими — и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно — сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядныи. Ну, када жа вы приедете, я уж все

глазыньки проглядела — все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца! Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи свому мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так: Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старуха задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюдимого мужа... Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь...

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то — пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек — тем боле. Ты скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они — походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то... Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! — день-деньской думать и думать... Ты, скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так — сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть — в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле

тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцыи завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер — вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять... Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в гор-

нице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут вéлики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой сниске чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба Оля».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него... Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там!.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала...

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а там — еще день будет. Может, правда приедут — все скорей.

— Старая! — сказала она себе. — Гляди-ко, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. — Ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль... Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка... — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему. — Гришка с Васькой, идите на точок — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю; вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке́, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точке́-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю. «А что?» — А сам все смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?

— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

— Да вы были там?! На точке́-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.

— Как это «были»?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке́! Сгребу вот счас обоих да носом — в точо́к-то, носом, как котов покостливых. Где ночевали?

— От... Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точке́. — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точке́.

— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь перео́ждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были...

Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах

его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

— Были?

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... жоны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — Дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не пашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точке́? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда... Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой: — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился...

— Ну ладно, ладно... Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! — Он заискал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что́ был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что́ она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни... Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой, в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите просты-

ни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый, голос. Мишка прислушался.

— Не скажите, не скажите, — негромко говорил голос, — не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: «Ну, что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?!» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание.

— Это они мастера — отмолчаться, — поддержал другой голос, усталый, немолодой. — Это они умеют.

— Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. «Ну долго, — спрашиваю, — будем в молчанку играть?»

Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот, внизу, это, конечно, не Малафейкин... Но до чего похож голос. Поразительно.

— «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! — говоришь ему. — Выведешь ведь из терпения — выселю!» — «Не надо», — просит. «А-а, открыл рот!.. Заговорил?»

— Случается, выселяете?

— Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

— Господи!.. Да нам полно людей требуется!

— А вы что там с ними будете делать? Самогон варить?

Двое внизу начальственно — негромко, озабоченно — посмеялись.

— Да-а... У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

— Да как... Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь — обожаю, между прочим,

на огонь смотреть, — а из огня на тебя... какое-нибудь мурло смотрит. «Господи, — думаешь, — да отстанете вы от меня когда-нибудь!»

— Как это — смотрит? — не понял другой, усталый собеседник. — Мысленно, что ли?

— Ну, насмотришься на них за день-то... Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

— У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

— Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи — удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь, затопишь камин— душа отходит.

— Своя?

— Дача-то?

— Да.

— Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит: «Домой, Семен Иваныч?» — «Домой, Петя, домой». Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался — рассказчика-то тоже Семеном Иванычем зовут! Как Малафейкина. Что это?

А Семен Иваныч внизу продолжал рассказывать:

— «Домой, — говорю, — Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!» Приезжаем, накладываем дровец в камин...

— А что, никого больше нет?

— Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю... Славно! Знаете, иногда думаешь: «Да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку».

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся.

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иваныч, тоже, наверно, улыбаясь. — Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну... Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно, — вздохнул собеседник. — Я тоже, знаете...

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с... Я что-то такое краем уха...

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает... А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим...

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска...

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором, — пояснил Семен Иваныч.

— А-а... — неопределенно как-то сказал усталый собеседник. И опять замолчал.

Семена Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря, — продолжал он. — Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое... Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно, — опять очень неопределенно сказал усталый. — Я ничего не имею... Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой... с голяшками... Не уважаете? — Семен Иваныч неуверенно посмеялся. — Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иваныч встревоженно.

— Что? — сказал собеседник.

— Не уважаете с голяшками?

— Да я их... это... я их мало видел.

— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая... черт ее... вот уж она виляет, вот виляет своим этим... Любопытно. Нет, это зрелище, зрелище, чего ни говорите.

— Совсем голые?

— Совсем!

— А как же... разве у нас снимают такие фильмы?

Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.

— Это ж не наши. Это оттуда.

— А-а, — сказал собеседник. — Там — да... Конечно.

— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!

— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.

— Но в душе, наверно, осудили меня.

— Я? Да почему!..

— Осудили, осудили... Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу... Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело... С вами можно откровенно?

— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник. — Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится...

— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать... Ах мы, бедненькие! А потом отвернемся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?

— Да нет, почему?! — Собеседник явно растерялся. — Я как раз ничего не имел... Дело же не в этом...

— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.

— Ну как?..

— Как?

— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.

— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?

Собеседник молчал.

— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!.. — Собеседник, чувствовалось, привстал. — В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иваныч. — Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

— Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

— Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом... Приблизительно часа два.

— Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да?

— Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость... Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Иванычем... Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился... Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину — Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит... Семен Иваныч Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках — книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху: «Здравствуй, сосед!» И вспомнил... И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек, слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

— Кажется, подъезжаем. — Пошуршал какой-то бумагой на столе — газету, что ли, свернул, — встал и вышел из купе.

Мишка свесил вниз голову... Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику — смотрел в окно.

— Привет генералу! — негромко сказал над ним Мишка.

Малафейкин резко вскинул голову... Встретились глазами. Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

— О! — сказал Малафейкин неодобрительно. — Явились не запылились... Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа — старался насмешливо.

— Чего это... разъезжаем-то? — даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи и как он устал от наград и почестей.

— Чего эт ты ночью плел... — начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему... И встал. И заговорил:

— Ну что, подъезжаем? — Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. — Да, уже. Уже Яуза. Так, так... — Потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

«Во фраер-то!» — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

— Вы не в сторону центра едете?—спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина.

— А? — встрепенулся Малафейкин. — Я? Нет, нет... Меня... Нет, в другую сторону.

— А то хотел присоединиться к вам.

— Нет, нет... Мне в другую.

— Нам в сторону Свиблова, — громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

— О, попутчик наш проснулся? — сказал румяный человек. — Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность — нет, никак.

Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина.

— Нет, мне бы еще столько, ничего бы...

— Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор... Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

«Трусит — разоблачу, — понял Мишка. — На кой ты мне черт нужен!»

Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

— Что, хватил вчера лишнего, что ли? — спросил миролюбиво. — Чего турусил-то ночью? Зачем?

— Отвяжись! — рявкнул вдруг Малафейкин. И покраснел как свекла. — Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал?! Чего пристал к человеку?!

На них оглянулись... Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро... Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся... И напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу... Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину... Заговорил на ухо ему:

— Ты не ори только, не ори... Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же... придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

— Вам что, легче, что ли, становится после этого?

Малафейкин молчал.

— Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их — вышел на прямую — Малафейкин стал искать глазами милиционера... Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

«Я тебя дома, во дворе, доспеху», — решил.

Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

— Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! — Прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой... Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

— Звонарь, — сказал он негромко, сам себе. — Дача у него, видите ли. С камином, видите ли... Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют... Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

ПОСТ СКРИПТУМ

Чужое письмо

Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 — это значит четвертый этаж, 9 — это порядковый номер, а два нуля — я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь — окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину... И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы

этого окна я вроде понял, веревочки найдем — они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я ее не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думает. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее — пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще, движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам — лежит громадная зажигалка. Цена — 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь — куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая... И вот она увивается перед иностранцами — и так и этак. Уж она и улыбается-то, она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностран-

цам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы... Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели веки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, вопервых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды — никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей... Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре — ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах — чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально. Показывали москвичи одну пьесу... Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а — смех. Со мной сидел один какой-то шкелет — морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого — это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шке-

лет, очень понравилась. Я к тому, что не обязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу — голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок: мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.

А шишечка эта на окне — правда, занятная: повернешь влево — этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо — светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) — не брало. Не то что не брало — легче не делалось.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка... — И дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись... — Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах... Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

— Он к сударушке, а ты — со стяжком — под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот... — У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. — Спомним былое...

— Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?

— Вона!

— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну, и что? Глупые вы какие-то бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?

— А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь — шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?

— На меня еще такой ревизор не родился...

— Оно видно.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не

спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький — сама навялилась. Приходют. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историйка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кровать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля...

Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая,

с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Вот змей-то! — изумилась Поля. — Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит... Николай-Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай-Угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей, — говорит.

Тимофей глянул кругом... И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай-Угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. — С тоски больше... не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами... Опять посмеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матерщинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал, — пе-

ред тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрышки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

— Ты что, Тимофей?

— Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

— Чего пришел... Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.

— Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

— Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

— Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, пашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...

— И что же он, тесть-то?

— Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

— Здорово испаскудился, — серьезно сказал Угодник.

— Совсем никудышный стал народ! — подхватил Тимофей. — Пьют, воруют... Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!

— Приворовываешь?

— Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка... — Тимофей весь собрался, подполз поближе. — Чего я тебя хотел попросить...

— Ну?

— Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообча да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня гра-

мотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцов обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил — родите-ка вы меня ишо разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами. — Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, — одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил — так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. — Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. — Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок. — Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

— Гляди-ка, правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-я-й.

...Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга!

— Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! — Тесть-Угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишком, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожгу ведь...

Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не знаю, — миролюбиво уже сказал Тимоха. — Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

ДЕБИЛ

Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем — «Дебил». Дебил — это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь — Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругались, тоже обзывала — Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил — так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой надо — глаз-то. Купить?»

Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался.

Хотелось купить шляпу! Но... Не то что денег не было, а — не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима — он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками — там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

— Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

— Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

— Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа — это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните. — Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством пережидал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды,—подумал он про людской поток в целом.—Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же — обзываться! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти — что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

— Ой, умру! — сказала она с трудом.

— Схороним, — сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

— Ты что, сдурел? — спросила жена.

— В чем дело?

— Зачем ты ее купил-то?

— Носить.

— У тебя же есть фуражка!

— Фуражку я дарю вам, синьорина, — в коровник ходить.

— Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось знаешь что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену... Но интеллигентность взяла верх. Он промолчал.

— Кто ты такой, что шляпу напялил? — не унималась жена. — Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты — шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

— Шалашня! — сказал он. — Могу ведь смазь замастырить. Замастырить?

— Иди, иди — покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться ведь будут!..

— Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно даже позволить кому-нибудь подержать в руках — у кого руки чистые.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками.

По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что — хорошо, глаза от солнышка закрывает... Кто и вовсе промолчал — шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один...

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он — это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза, как у черта, — светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

— А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

— Никаких настольных ламп, — ответствовал Анатолий. — Как было, так и будет — по старой ведем.

— Старое отменили.

— Когда?

— В семнадцатом году.

Анатолий обиделся.

— Слушайте... вы сильно ученый, да?

— Так... средне. А что?

— А то, что... не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

— Не буду, — согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?». Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» — «Потому, что... знаете? — нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось — не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? — он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть...

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался... и смотрел в глаза Анатолию — прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги оглянулся, поздоровался, скорей машинально... Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся... Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

— Здравствуйте! — сказал учитель. — А я смотрю:

тень какая-то странная в воде образовалась... Что такое, думаю? И невдомек мне, что это — шляпа. Славная шляпа! Где купили?

— В городе. — Анатолий и тон этот подхватил — спокойный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. — Нравится?

— Шикарная шляпа!

Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

— Клюет?

— Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

— Дорого.

— Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку — и на стенку. Иначе поля помнутся. — Учитель посмотрел искоса — весело — на Анатолия, на шляпу его...

— Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

— Как это? — не понял учитель.

— Да вот эти вот взгляды... косые — зачем? Смотреть надо прямо — открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

— Да... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

— Это неуважение.

— Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все... Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже — интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

— Правила хорошего тона?

— Да. А что?

— Изучают такие правила?

— Изучают.

— А правила ехидного тона?

— Э-э, тут... это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

— Клюет!

Учитель дернул удочку... Пусто.

— Мелюзга балуется, — сказал он.

— Мули.

— Что?

— У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль — рыб-

ка такая. Ма-аленькая... Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

— Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь... Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда?

— Это смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще...

Учитель засмеялся.

— Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу — это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

— Ну, о чем же вы думаете? С удочкой-то?

— Да разное.

— Ну, все же?

— Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? — Учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

— Сорок. А что?

— И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку — и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы... Помолчал, через силу улыбнулся.

— Нет, не хочется.

— Значит, я один такой... Серьезно, сижу и думаю: хорошо бы пройтись босиком по селу! — Учитель говорил искренне. — Ах, славно бы! А вот не пройдешь... Фигушки!

— Да... — неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: — Так-так-так...

— Слушайте, — заговорил учитель горячо и серьезно, — а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь... Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания — и пройдемся. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

— Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то — жарко.

— Ну-ну, не поняли вы меня.

— Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать... в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку... Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился... Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,
Я думала о ва-ас;
Блестяща мысль моя и путалась и рвалась...

Помолчал и сказал негромко, себе:
— В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей...

Проигрыш. Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра.... рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам та-та-ра-ра...

Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

— Коль, «Цыганочку»!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.

— Валю-ша, — зовет он, подняв голову. — Брось-ка мне штиблеты — «Цыганочку» товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку,

ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — «по-тирольски», чем потешает публику.

— Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазом, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

— Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него не похоже, и никто так не думает — просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики, и парни.

— Какой размер, Коля?

— Фиер цванцихь — сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает «Цыганочке», где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки — каблучки, каблучки — носочки... Опять взвякивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы — Валя смотрит на своего «шута». Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой «Цыганочки». Три года назад этой самой «Цыганочкой» Колька «обаял» гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк-Колька с Валюшей самым идиотским способом — заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось — Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу — Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией —

много «разных слов». Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня — смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща — родней — купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде — сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот «чистыми». Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома — шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

— У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

— Заткнись со своей деревней, — посоветовала Валя. — Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип... — терзался изумленный Колька. — Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «дерёвня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых — все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы — сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, — таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке, и пел кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сияньи дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские — крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

— Мам, ты чё это?

— Чё?

— Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

— Да боюсь я, сынок, чё-нибудь не так сделаю.

— Ну, ты уж какая-то...

— Да ничё, чё ты? Посмотрела вот — и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ничё, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

— Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... эта... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними.

— Ты смотри, смотри-и, парень! — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. — Ты смотри-и!.. Ты — за рукоприкладство-то — в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ро́стили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

— Что же вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшего и в загс — инженера-то. Или они хит-

рей вас оказались? Удовольствие получили — и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

— Кретин! Сволочь!

— А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

— Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

— Голодранец поганый!

— Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

— Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

— Куда это? — спрашивал Колька, прищемив боль зубами.

— К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

— Ну как заказчики? — интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся — не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

— Дурачок, — спокойно говорила Валя. — Не думай — не из таких.

— Вы не из таких, — соглашался Колька, — вы из таковских.

Бывало, что по воскресеньям они втроем — с дочкой — ездили куда-нибудь.

Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, — это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает — бес-

плодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы — мясники, здоровые лбы, беззаботные, как клоуны). Что же дальше? Дальше — плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет — подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он приедет один, мать станет плакать: это большой грех — оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать?

Окно на третьем этаже открывается.

— Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин. Тебя же счас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

— Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

— Закрой поддувало. И окно закрой — она будет спать.

— Кретин.

— Падла.

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

— Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня — бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

— Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

— П-положь ребенка, — сказал он, заикаясь.

— Только тронь!..

— Все равно я тебя убью сегодня. — Колька сам подивился — будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. — Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыл кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

— Пусть течет пока, — сказал вслух.

Вошел в комнату — Вали не было. Зашел в другую комнату — и там нет.

— Убежала. — Вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру. — Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

— Не обрадуетесь, гады.

Сел... Но тотчас встал — показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

— Так? — спросил себя Колька. — Значит, жена мужа в Париж провожала? — Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку».

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

— Скотина! И газ не... — Но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русый был смят и свалился набочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

— Надо... это... милицию.

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время...». — «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении: «Уволить по собств. желанию». Осталось взять трудовую книжку.

За трудовой книжкой Колька и пришел.

Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович, средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда.

— Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку.

— Мало платят.

— Сколько?

— Чего «сколько»?

— Сколько, ты считаешь, мало?

— Шестьдесят-семьдесят... А то и меньше.

— Ну. А тебе сколько надо?

Кольку слегка заело.

— Мне-то? Три раза по столько.

Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству.

— Не хватало, значит?

— Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а... Тьфу! — Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. — Все.

— И куда?

— Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмой километр.

— Специальность в кармане, а ты — ямы рыть. Ты же водитель второго класса...

— А что делать?

— Водку поменьше пить. — Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.

Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета

глаза Синельникова. Пошевелил ноздрями и сказал (как он потом уверял всех) вежливо:

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.

— Каких это штучек?

— Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.

— И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят. — Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь... быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. — Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту водку!.. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные.

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы «глот», да еще «несчастный»... Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились: как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, и уж так — выговаривают что положено, но без всякой надежды.

— Да что за мать-перемать-то! — возмутился Колька. — Ты что... чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?

Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании; он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную, необидную критику.

— Продолжай.

— Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.

— А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?

— За что? — растерялся Колька.

— За буйство. За недисциплинированность... Ма-аленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь... краковяк. — Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.

— За что же ты мне пометочку сделаешь?

— Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под

опоры, а тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут... Нет, скажут, нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут... Дерьмо. — Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы — все сидел как в президиуме.

— Кто? — спросил Колька. — Как ты сказал?

— Чего «кто»?

— Я-то? Как ты сказал?

— Дерьмо, сказал.

Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек... Плеснул — так вышло. Синельников отнял руку от головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли... Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После того оглядел рубашку и брюки: пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.

— Так... — сказал Синельников. — Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием.

— Ты же первый начал оскорблять...

— Я — словами, никто не слышал, чернила — вот они, налицо. Причем химические. — И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек! — Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пять рублей. — Синельников взялся за телефон. — Решай. А то звоню в милицию.

Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.

— Почему двадцать пять-то? То — двадцать, а то сразу — двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..

— Пять рублей — это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил.

— Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.

— На попутной я не хочу. Туда — на попутной, а оттуда — такси возьму.

— Фон-барон нашелся!.. «На такси-и»!

— Да, на такси. Что — дико?

— Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться — неужели не совестно?

— Ты меня чернилами окатил — тебе не совестно? Что же я — за свой собственный костюм на попутных буду маяться? Двадцать пять. Пиши.

— Чего?

— Расписку. — Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.

Колька брезгливо взял лист...

— Как писать-то?

— Я, такой-то, — полностью имя, отчество, — обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять — прописью — рублей ноль-ноль копеек...

Колька зло усмехнулся, покачал головой.

— «Ноль-ноль копеек»!.. Командующий, мля!..

— Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька остановился писать.

— Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут... начнут придираться.

Синельников подумал.

— Ладно, пиши: за порчу костюма товарища... белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька пропустил слово «товарища», написал: «белого костюма Синельникова».

— Химическими чернилами...

Колька взял пузырек, посмотрел.

— Разве для авторучек бывают химические?

— А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.

— Писатели, мля... — проворчал Колька.

— Подпись. Число.

Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.

— Сколько тебе под расчет причитается?

— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.

— После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой.

Колька встал.

— Ты это... не говори никому, что... слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей... хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.

— Ладно.

Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.

— Что?

— Хо-о, — сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета.

В коридоре разок про себя матюкнулся.

«Четвертной — как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести — двести пятьдесят рублей... И успокоился. «Да гори они синим огнем! — подумал. — Жалеть еще...»

ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ

Тринадцать человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней, направили «на кубы» (на лесозаготовки). На три-четыре недели — как управятся с нормой. Старшим назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

— Значит, Щиблетов... ты, значит, теперь Христос, а это — твои апостолы.

«Апостолы» засмеялись. «Христос» сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

— Сбор завтра в семь ноль-ноль возле школы, — сказал он серьезно. — Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно, «апостолы» переглянулись между собой... Щиблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

— Вот, значит, э-э... чтобы все было в порядке, — сказал директор. — Через недельку приеду попроведую вас.

«Апостолы» вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного.

— Щиблетов-то!.. Понял? Уже — хвост трубой!

— Да-а... Любит это дело, оказывается.

— Разок по букварю угодить чем-нибудь — разлюбит, — высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким лицом, муж горбатой жены.

— Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус, — мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

— А ты иди похмелись, — огрызнулся Славка.

— Золотые слова, — прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все — кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной «москвичке» (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович — сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена... или кто она ему — непонятно. По паспорту — жена, на деле — какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

— Как вы так живете?

— Так... — неохотно отвечал Щиблетов. — Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами во многом виноваты...». С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на доске Почета.

Старшим его назначили впервые.

— Не спешат друзья, — сказал Щиблетов.

— Придут, — беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор. — Иди погрейся, что ты там топчешься.

— Придут-то, я знаю, что придут, — Щиблетов полез в кабину, — но было же сказано: в семь ноль-ноль.

— Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

— Да.

— Счас придут. Вон они!..

Стали подходить «апостолы». Щиблетов вылез из кабины.

— Друзья!.. — Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой.

— Успеем, — успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое.

— Здорово, орлы! — приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: — Но не те, которые летают, а которые...

— Залезайте, — несколько брезгливо оборвал Щиблетов.

— Зале-езем, куда мы денемся, — гудел Куликов, не замечая брезгливости Щиблетова. — Залезем... за милую душу.

— Ко всем обращаюсь! — возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт. — Чтобы вот такого больше не повторялось!

У «апостолов» вытянулись лица — чего не повторялось?

— Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас... без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

«Апостолы» молчали... Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

— Поехали.

Поехали.

— Куликов частенько закладывает? — поинтересовался Щиблетов, как интересуются властью наделенные люди: никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе обещающую интонацию — заняться в дальнейшем этим Куликовым.

— А ты спроси у него, — невежливо ответил шофер. — Он ответит... Что за манера — справки наводить! Рядом же человек, живой — спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу, серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

— Чего они? — встревожился Щиблетов.

— Погреться хотят. — Шофер подрулил к чайной. — Это здесь тепло, а в кузове продерет — дорога длинная.

— Не останавливайся! — строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав «апостолов», зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней было еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

— Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

— Водку не продавать. В крайнем случае — по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: «Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!»

Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит.

— Горюет!.. Жалко.

— Тут голову сломаешь, и то никому не жалко, — сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

— Мужики, а водки не велено продавать. — Хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

— Кто? — спросили в несколько голосов.

— А вот... товарищ... Я не знаю, кто он над вами, — не велел продавать.

— Друзья, — обратился ко всем Щиблетов, — разрешаю по стакану красного!.. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова — никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

— Чего, чего?

— Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Чернов, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку...

— А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

— Пошли, — сказал Иван, увлекая его к машине. — А то он так чокнет, что получится — на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют... Я тоже.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?

— Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь... Сиди, не рыпайся — лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли:
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!

— Валенок сибирский, — зло и насмешливо прошептал Щиблетов. — В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснуло два ножа:
— Эх, братцы, он не наш, не с океана!
— Мы, Гари, посчитаемся с тобой! —
Раздался пьяный голос атамана.

— Посчитаешься, посчитаешься, — шептал Щиблетов.

Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

— Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах — собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов положил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

— Я попрошу шофера пока не уезжать — отвезешь протокол... Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

— Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

— На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков... В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку — четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели...

— Вон как!

— Что эт тебе, бабу повалить?

— Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

— Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

— Перехожу ко второму вопросу, — продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания. — Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

— Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их. — Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял «москвичку». — Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один... субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

— В воду! — подсказал Славка Братусь.

— В воду! — подхватил Щиблетов. — Для того, чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели «глазом моргнуть», «опомниться»... Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: «Это меня — в воду?» — навесил ему пудовую оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он «сушил сухари» — дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд не подал, а подал директору... протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать... Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала о муже... твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, что он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть в пору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, что говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... — И тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

— Молчать! — строго сказала Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!.. — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, что я, хромой, — на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согревать привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока,

не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна помчалась в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за молодость и за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот что на мне, то и все тут. Хотел хоть раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну а обзывался-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четвертку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, что она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки, это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил: Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина...

— Да она-то что!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж тварь, — думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жи-

ла, и всю жизнь злилась. Курва... На кой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ, Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы. — И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало, — процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно взыграла душа. Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжкое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладывает.

— Разговорчики! — прикрикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя.

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток и с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи па крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня. — Сама любишь людей сажать? Теперь маленько спробуй на своей шкуре. — Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только сказала:

— Ну, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это тоже не скажут.

Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда

он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгиляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгилялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется, — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. — Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы

тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом. Это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае просто полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что, он после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто.

Под Веней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки вон: щупленький такой же, молодой, лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался. Бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел тут же его пристрелить, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И что вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, что бывает — найдет на человека слабость,

стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. — Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами, и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он испугался — это понятно. Но испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну, тогда положись на волю божью, как говорят, точнее, — на медвежью: задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался: он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди — возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька смотрел на представительного мужчину, плохо понимая, что он говорит. Понимая только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Он раньше никогда в судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвините-

ли... Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли он дать суду какие-нибудь пояснения, он пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну — четыре — тридцать один — тридцать два...

Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его, как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и както подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех — надо сажать. О, господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и все равно это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от

тещи, жить бы отдельно... Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но как бы, о чем бы ни думал Веня в эту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал. У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слиплись и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки.

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло: земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший.

На двадцать седьмом километре Веня увидел впереди «Волгу» — стоит, капот задран, шофер в моторе копается, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай... — И узнал Веню. — О-о! — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. — Старый знакомый!

— Садись! — сказал Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Что?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно. — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами. Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь. — Мужчина чуть колыхнул животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И — как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один... — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается как Волга. — На заказ.

— И сколько берет за пальто? Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет?

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже.

— Что значит — хорошее?

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет. — Странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

ЗАБУКСОВАЛ

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился...» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню —

дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается...»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дуроломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие это думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились...»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.
— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?
— Ну. И что?
— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали, значит, учи. — И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты. Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?
— Он в район не собирался ехать?
— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.
— Здравствуйте, Роман Константиныч! — Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку... извозился весь.
— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку... «Русь-тройку» учит...
— Так.
— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...
— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю. — Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайди, — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну, по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело: может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штуkенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да. — Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. — Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло. — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ

В архиве В. М. Шукшина имеется 125 опубликованных рассказов.

Настоящее издание является наиболее полным. По нему читатель может составить представление как о целостном облике Шукшина-новеллиста (общепризнано, что именно рассказы обеспечили их автору видное место в русской прозе XX века), так и о движении его мастерства и миропонимания.

Все известные читателям рассказы В. М. Шукшина написаны в последние полтора десятилетия его жизни: с 1958 по 1974 год. Это не значит, что он не писал рассказы раньше. Но более ранние не стали фактом литературы. Среди шукшинских бумаг имеется так называемый «чемодан отказов»: с середины 50-х годов, будучи студентом ВГИКа, Шукшин по совету своего учителя М. И. Ромма рассылал рассказы «веером» по всем московским редакциям, ответы он складывал в чемоданчик, что в условиях общежительского быта и беспрестанных переездов было достаточно рациональным решением. Сохранившиеся таким образом отказы (а подписаны они весьма авторитетными для того времени литературными именами), несомненно, еще сослужат службу будущим биографам В. М. Шукшина.

Перелом наступил летом 1958 года: в журнале «Смена» № 15 появился рассказ Шукшина «Двое на телеге». С тех пор имя Шукшина-рассказчика не сходит со страниц печатных изданий.

Данный том представляет читателю рассказы, написанные В. Шукшиным в 1960—1971 годы.

В комментариях, помимо времени и места написания рассказов, показаны прижизненные публикации: периодика и книги В. М. Шукшина: «Сельские жители» * (1963), «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Характеры» (1973) и «Беседы при ясной луне» (1974), а также вышедшие сразу после смерти автора «Брат мой» (1975) и «Избранные произведения» в двух томах (1975), которые В. М. Шукшин успел в основном составить сам. Дальнейшие переиздания, накопившиеся за десятилетие после

* Эта первая книга В. М. Шукшина, вышедшая в изд-ве «Молодая гвардия» в 1963 году, по составу почти полностью включена в настоящее издание.

смерти В. М. Шукшина и свидетельствующие уже не о его авторской воле, а об интересе издателей к тому или иному рассказу, учтены по данным на середину 1984 года.

В комментариях приведены наброски В. М. Шукшина из его рабочих тетрадей, относящиеся к конкретным рассказам. Эти наброски позволяют судить о движении его замысла и приоткрывают творческую лабораторию В. М. Шукшина.

В комментариях отмечены наиболее характерные полемические суждения критиков об отдельных рассказах В. М. Шукшина, появившиеся при его жизни.

В комментариях не учтены переводы рассказов на иностранные языки и языки народов СССР, а также многочисленные экранизации и инсценировки (за исключением авторских). Оставляем это поле деятельности будущим исследователям и сосредоточиваем комментарий на литературно-издательской судьбе рассказов В. М. Шукшина.

В настоящем издании рассказы публикуются по рукописям с учетом последней прижизненной правки автора. В случае, когда рукописи утрачены, — по последним прижизненным публикациям, если они исправны.

Светлые души. Рассказ написан в 1959 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1961, № 3). Включен В. М. Шукшиным в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие сборники не включался.

Правда. Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1961, № 3) и параллельно в газете «Труд» от 26 марта 1961 года. Включен В. М. Шукшиным в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие сборники не включался.

Стенька Разин. Написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Москва» (1962, № 4). Включен В. М. Шукшиным в книгу «Сельские жители», в дальнейшие прижизненные издания не включался; впоследствии три издания.

Солнце, старик и девушка. Рассказ написан в 1960 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в сборнике «Сельские жители» (1963), четыре переиздания.

Степкина любовь. Рассказ написан в 1960 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1961, № 3). Включен в книгу В. М. Шукшина «Сельские жители» (1963). Переиздавался трижды, в том числе в репертуарном сборнике «Знакомьтесь, Сибирь» (М., 1965). В 1964 году рассказ стал объектом полемики между критиками Г. Митиным и В. Кожиновым (газета «Литературная Россия», 19 июня и 25 сентября); в ходе полемики

Г. Митин требовал от автора нравственных оценок происходящего, а В. Кожинов доказывал, что эти оценки следуют из художественного смысла рассказа.

Далекие зимние вечера. Рассказ написан в 1961 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в книге В. М. Шукшина «Сельские жители» (1963) и в дальнейшие прижизненные издания не включался. Впоследствии издавался дважды.

Демагоги. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» (1962, № 3). Включен в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие прижизненные издания не включался, впоследствии одно издание.

Племянник главбуха. Написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (1962, № 4). Вошел в сборник «Сельские жители» (1963), в дальнейшие книги В. М. Шукшина не включен. Впоследствии одно издание.

Ленька. Написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» (1962, № 3). Включен в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие издания не включался.

Артист Федор Грай. Написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (1962, № 4) и параллельно в газете «Советская Россия» 30 апреля 1962 года. Включен В. М. Шукшиным в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие прижизненные издания не включался, впоследствии издавался дважды.

Воскресная тоска. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован 1 января 1962 года в «Комсомольской правде» под названием «Приглашение на два лица». Вошел в книгу «Сельские жители» (1963), в дальнейшие прижизненные издания не включался, впоследствии одно издание.

Коленчатые валы. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1962, № 5). Включен В. М. Шукшиным в книгу «Сельские жители» (1963), в последующем не переиздавался. Мотивы рассказа использованы В. М. Шукшиным в фильме «Живет такой парень» (1964).

Сельские жители. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в газете «Труд» 30 апреля 1962 году под названием «Перед полетом», затем в журнале «Октябрь» (1962, № 5). Вошел в сборник «Сельские жители» в качестве заглавного произведения (1963). Включен в сборник «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранные произведения» (1975); впоследствии издавался около десяти раз.

Леля Селезнева с факультета журналистики. Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1962, № 5). Вошел в сборник «Сельские жители» (1963), в дальнейшем не издавался.

Гринька Малюгин. Написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1963, № 2). Вошел в сборник «Сельские жители» (1963), при жизни В. М. Шукшина не переиздавался, впоследствии издан четырежды. Мотивы использованы в фильме «Живет такой парень» (1964).

Классный водитель. Написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1963, № 2). Включен в сборник «Сельские жители» (1963), при жизни В. М. Шукшина не переиздавался, впоследствии издан дважды. Мотивы использованы в фильме «Живет такой парень» (1964).

Игнаха приехал. Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1963, № 2). Включен в сборник «Сельские жители» (1963), при жизни В. М. Шукшина не переиздавался, впоследствии одно издание. Мотивы использованы в фильме «Ваш сын и брат» (1965).

Одни. Первоначально: «Музыкант». Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1963, № 2). Включен в сборник «Сельские жители» (1963) и в «Избранные произведения» (1975), впоследствии издавался шесть раз.

Критики. Рассказ написан в 1963 году. Впервые опубликован в журнале «Искусство кино» (1964, № 2). Не включался автором ни в один из прижизненных сборников. «Возможно, что В. М. Шукшин об этом рассказе забыл» *(Л. Ф-Ш.)*. Впервые издан в книге В. М. Шукшина «До третьих петухов» (М., 1976), затем — около десяти изданий.

И разыгрались же кони в поле. Рассказ написан в 1964 году. Впервые опубликован с сокращениями в «Литературной газете» 22 августа 1964 года, затем полностью в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии» (т. 3, М., 1967). Включен В. М. Шукшиным в книги: «Там, вдали...» (1968); «Земляки» (1970), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издан четыре раза. Стихи в рассказе написаны В. М. Шукшиным.

Степка. Первоначально: «Дурак». Написан в 1964 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1964, № 11). Вошел в сборники В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издавался четырежды. Использован в фильме «Ваш сын и брат» (1965).

Космос, нервная система и шмат сала. Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 29 июля 1966 года. Вошел в сборники В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издавался около десяти раз. Мотивы использованы в сценарии фильма «Позови меня в даль светлую» (1972).

Нечаянный выстрел. Первоначально: «Колька», «Нога». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в газете «Московский комсомолец» 27 июля 1966 года. Вошел в книги В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968) и «Земляки» (1970). Впоследствии четыре издания.

Охота жить. В рукописи посвящение: «Лиде Федосеевой в день 8 марта 1966 г. Аутор». Впервые рассказ опубликован в «Неделе» за 3—9 июля 1968 года. Включен в книгу В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968). Около десяти переизданий, в том числе в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии» (т. 3, М., 1967).

Капроновая елочка. Первоначально: «В ночь под Новый год». Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (1966, № 12). Включен в книги В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968) и «Брат мой» (1975). Впоследствии одно издание. Географическое название Буланово введено В. М. Шукшиным в рассказ в ходе последней авторской правки незадолго до смерти, во всех публикациях — Завьялово. По всей видимости, В. М. Шукшин хотел уйти от широко распространенного в Сибири названия сел — Завьялово.

Ваня, ты как здесь?! Первоначально: «Как Пронька Лагутин чуть не сделался артистом». Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (1966, № 12). Включен в сборники «Там, вдали...» (1968) и «Брат мой» (1975). Два переиздания.

Вянет, пропадает. Рассказ написан в 1966 году в Хабаровске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 1), затем в книгах В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранных произведениях» (1975). Впоследствии около десяти изданий. Включен В. М. Шукшиным в сценарий «Позови меня в даль светлую».

Волки. Рассказ написан в 1966 году на Алтае. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 1), затем в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии» (т. 3, М., 1967), в сборниках В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранных произведениях» (1975). Впоследствии около десяти изданий.

Горе. Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (1967, № 3). Включен в сборники «Там, вдали...» (1968), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975) и в «Избранные произведения» (1975). Впоследствии около десяти изданий.

Случай в ресторане. Первоначальные названия: «Крупный поэт», «Крупный интеллигент». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (1967, № 3). Включен в сборники «Там, вдали...» (1968) и «Беседы при ясной луне» (1974). Переиздавался трижды. При своем появлении вызвал полемику критиков Ю. Идашкина («Комсомольская правда», 1967, 16 декабря) и И. Штокмана («Литературная газета», 1968, 11 сентября); первый усмотрел в героях рассказа «удивительное духовное убожество», а второй оспорил это мнение, истолковав рассказ как историю расплаты человека за сделанный им неправильный жизненный выбор.

Думы. Рассказ написан в январе 1967 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9). Вошел в сборники «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии пять изданий. Использован в фильме «Странные люди» (1969).

В профиль и анфас. Первоначально: «Земля». Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9). Вошел в сборники «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издан дважды.

Как помирал старик. Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9). Вошел в сборники «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издан шесть раз.

Даешь сердце! Первоначально: «Даешь жизнь!». Рассказ написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в книге «Земляки» (1970), затем в «Характерах» (1973) и в книге «Брат мой» (1975). Переиздан трижды.

В воскресенье мать-старушка... Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в сборнике В. М. Шукшина «Земляки» (1970), затем в «Беседах при ясной луне» (1974). Впоследствии издан шесть раз.

«Раскас». Написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9). Вошел в сборники В. М. Шукшина «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранные произведения» (1975). Напечатан также в сборнике «Сибирский рассказ» (вып. 2, Новосибирск, 1978). Около десяти изданий.

Чудик. Написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9). Вошел в сборники «Там, вдали...» (1968), «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издан около десяти раз. Использован в фильме «Странные люди» (1969): новелла «Братка».

Миль пардон, мадам! Рассказ написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1968, № 11). Включен В. М. Шукшиным в сборники «Земляки» (1970), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранные произведения» (1975). Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ» (вып. 2, Новосибирск, 1978), а всего более десяти раз. Экранизирован в фильме «Странные люди» (1969): новелла «Роковой выстрел».

Земляки. Рассказ написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (1968, № 5) под названием «Здешний», затем в сборнике «Земляки» (1970) и в «Избранных произведениях» (1975). Переиздан трижды.

Из детских лет Ивана Попова. Первоначально с подзаголовком: «Воспоминания, написанные им самим». Цикл рассказов написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1968, № 11) под названием «Из детства Ивана Попова», затем в книге В. М. Шукшина «Земляки» (1970) в сокращенном виде. Впоследствии пять изданий.

Материнское сердце. Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1969, № 10), затем в книгах В. М. Шукшина «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975), «Избранных произведениях» (1975). Включен в сборник «Сибирский рассказ» (вып. 2, Новосибирск, 1978). Впоследствии около десяти изданий.

Микроскоп. Первоначально: «Микро-микро». Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (1969, № 11). Вошел в сборник «Земляки» (1970) и в «Избранные произведения» (1975). Впоследствии издан шесть раз.

Финал рассказа, начиная со слов: «...Зима скоро. Учись, Петька!..» — написан В. М. Шукшиным в ходе последней авторской правки, незадолго до смерти, и публикуется впервые.

Непротивленец Макар Жеребцов. Написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1969, № 10) под названием «Макар Жеребцов». Вошел в сборники «Земляки» (1970), «Характеры» (1973), «Избранные произведения» (1975). Переиздан пять раз.

Свояк Сергей Сергеевич. Написан летом 1969 года в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1969, № 10). Вошел в сборники «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Переиздан трижды.

Суд. Первоначально: «Суд да дело». Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1969, № 10). Вошел в сборник «Земляки» (1970) и в «Избранные произведения» (1975). Пять переизданий.

Сураз. Первоначально: «Непутевый», «Жаркй», «Скандалевич». В рабочих записях пояснение: «Повесть из рассказа (отвергнутого всеми редакциями и издательством)». Рассказ написан в 1969 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в первоначальном варианте в сборнике «Земляки» (1970) и в «Избранных произведениях» (1975), затем — в окончательном варианте в книгах «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Переиздан около десяти раз. При появлении вызвал полемику между критиками Л. Аннинским и В. Гусевым в «Литературном обозрении» (1974, № 1). Первый упрекнул автора в необъективности и пристрастии к «природному человеку», второй доказывал, что автор занимает более сложную и правильную позицию.

Залетный. Написан в 1969 году. Впервые опубликован в сборнике «Земляки» (1970), затем в «Беседах при ясной луне» (1974) и в «Избранных произведениях» (1975). Переиздан около десяти раз.

Мастер. Написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Литературный Киргизстан» (1971, № 4), затем в «Сибирских огнях» (1971, № 12). Вошел в книги В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранные произведения» и «Брат мой». Переиздан около десяти раз.

Чередниченко и цирк. Первоначально: «Цирк». Написан в 1969 году. Впервые опубликован в «Литературной газете» 15 июля 1970 года. Включен в книгу «Брат мой» (1975). Переиздан дважды.

Танцующий Шива. Первоначально: «Смазь вселенная» (sic!). Рассказ написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Север» (1972, № 3), затем в журнале «В мире книг» (1975, № 8), в книгах В. М. Шукшина «Беседы при ясной луне» (1974), «Избранных произведениях» (1975). Переиздан пять раз.

Бессовестные. Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7) под названием «Сватовство», затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Переиздан трижды.

Крепкий мужик. Написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975). Переиздан четырежды.

Верую! Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1971, № 9), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975). Переиздан около десяти раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Взвыл человек от тоски и безверья. Пошел к бывшему (?) попу, а тот сам не верит. Вместе упились и орали, как быки недорезанные: «Ве-рую».

В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита» 17 мая 1974 года на вопрос: «В сборнике «Характеры» есть рассказ «Верую!». Описанная в нем ситуация подсмотренная или выдуманная?» — В. М. Шукшин ответил: «В строгом смысле слова это все же выдуманная вещь. Выдуманная постольку поскольку... опять же ситуация несколько крайняя, что ли. Но мне нравятся крайние ситуации. Вот поп, скажем... Для того чтобы извлечь искру, надо ударить два камня друг о друга... Мне нравится вот эта сшибка совсем полярных каких-то вещей. В рассказе «Верую!» мне показалось заманчивым вот столкнуть некие представления о жизни, совсем разные. И извлечь отсюда что? Вот что: мы получаем много информации ныне. Для того чтобы кормить наш разум, мы получаем очень много пищи, но не успеваем или плохо ее перевариваем, и отсюда сумбур у нас полнейший. Между прочим, отсюда — серьезная тоска. Оттого, что мы какие-то вещи не знаем точно, не знаем в полном объеме, а идет такой зуд: мы что-то знаем, что-то слышали, а глубоко и точно не знаем. Отсюда... в простом сельском мужике тоска зародилась. А она весьма оправдана, если вдуматься. Она оправдана в том плане... в каком надо еще больше и глубже знать...»

Срезал. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975). Переиздан в сборнике «Советский рассказ» (т. 2, М., 1975), а всего более десяти раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села... К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахинею понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот».

В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита»

17 мая 1974 года на вопрос: «Какой ваш любимый рассказ в «Характерах»? Что вы больше всего любите из этого сборника?» — В. М. Шукшин ответил: «Ну, мне вот представляется: первый же рассказ, «Срезал» называется. Тут, я думаю, разработка темы такой... социальной демагогии. Ну что же, мужик, мужик... Вот к вопросу о том, все ли в деревне хорошо, на мой взгляд, или не все хорошо. Вот образец того, когда уже из рук вон плохо. Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная; а прикрашенная если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем — это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая вот зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс... Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уж вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все это у него перемешалось. Но адресовано все для того, чтобы просто напакостить. Оттого, что «я живу несколько хуже». Снят с повестки дня вопрос, что для того, чтобы жить хорошо, надо что-то сделать. Он снимает это. Никаких почему-то тормозов на этом пути не оказалось. Может быть, мы немножко виноваты, что слишком много к нему обращались как к господину, хозяину положения, хозяину страны, труженику, мы его вскормили немножко до размеров, так сказать, алчности уже. Он уже такой стал — все ему надо. А чтобы самому давать — он почему-то забыл об этом. Я думаю, что вот деревенский житель, тоже нынешний, и такой».

Сильные идут дальше. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7) под названием «Митька Ермаков». В прижизненных книгах не издавался. Впоследствии четыре издания.

Шире шаг, маэстро! Первоначально: «Ваш ход, маэстро!», «Отныне будешь так». Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7) под названием «Шире шаг...», затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975). Переиздан в сборнике «Московский рассказ» (М., 1977), а всего более десяти раз.

Петя. Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Брат мой» (1975), «Избранных произведениях» (1975). Одно переиздание.

Сапожки. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ» (вып. 2, Новосибирск, 1978), а всего пять раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Как муж жене сапожки покупал. Измучился, изнервничался... А привез — они ей не подходят. Они вместе прокляли ее толстые ноги. Горе».

Обида. Рассказ написан в 1970 году в Потсдаме (ГДР). Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 12 февраля 1971 года, затем перепечатывался во всех подготовленных В. М. Шукшиным сборниках, впоследствии — более десяти раз.

Хмырь. Первоначально: «Загадочная славянская душа». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в газете «Советская Россия» 16 июня 1971 года под названием «На курорте», а также в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Вошел в «Избранные произведения» (1975). Одно переиздание. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Из серии «Мужчина и женщина»:

1. Как в Ялте прощаются. Дешевый роман, в дешевых углах и конец его — под дешевую музыку.

2. В самолете. Женщина рассказывает сзади, как они ездили за границу.

3. Загадочная славянская душа. Как мужик (пошлятина беспросветная) охмуряет сидит молодую женщину. В поезде (в автобусе). «И жить торопимся и чувствовать — скорей!»

Хозяин бани и огорода. Первоначально: «Загадочная славянская душа», «В субботу вечером», «Разговоры». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Вошел в «Избранные произведения» (1975). Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ» (Новосибирск, 1975), а всего четыре раза.

Письмо. Первоначально: «Сон». Написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранных произведениях» (1975). Переиздан восемь раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Попросила тетка написать письмо... Согласился. А душа болела — боялся. И точно — всю ночь угробил: писал, чиркал, искал слова — измучился. Все — осторожничал, старался быть вежливым... Пришла утром тетка, я прочитал. Она подумала и попросила: «Ты напиши так: «Что ж ты, кобель, себе думаешь?..»

Дядя Ермолай. Написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Советская Молдавия» 14 августа 1971 года, затем в том же году в газетах «Советская Литва» (21 августа), «Советская Киргизия» и «Советская Эстония» (22 августа), «Алтайская правда» (26 августа), «Туркменская искра» (9 сентября) и в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Рассказ вошел в книги В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975). Десять переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Из детства. Случай, когда нас бригадир послал с Гришкой Новоселовым сторожить ток. Мы ток в темноте не нашли, переспали в первой попавшей скирде. А утро было — в этом и рассказ — утро после дождя. И всю жизнь мне снится то утро».

Финал рассказа, начиная со слов: «Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине...», написан В. М. Шукшиным в ходе последней авторской правки, незадолго до смерти, и публикуется впервые.

Генерал Малафейкин. Первоначально: «Генерал Малафеев», «Ночной рассказ». Написан в 1970 году в Потсдаме (ГДР). Впервые опубликован в журнале «Север» (1972, № 3), а затем в «Избранных произведениях» (1975). Два переиздания.

Пост скриптум. Написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Север» (1972, № 3), затем в книгах «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975), «Избранных произведениях» (1975). Переиздан четыре раза.

Билетик на второй сеанс. Первоначально: «Господи, дай...», «Фраер», «Судьба». Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда», (1971, № 9), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974) и «Брат мой» (1975). Шесть переизданий.

Дебил. Первоначально: «Шляпа». Рассказ написан весной 1971 года. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1971, № 9), а затем в книгах «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Три переиздания. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Человек купил шляпу — с малым скандалом, думал обратить внимание друзей, а они нашли, что шляпа — не современна, не очень современна. Горе. Разочарование».

Жена мужа в Париж провожала. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), затем в «Избранных произведениях» (1975). Пять переизданий.

Ноль-ноль целых. Рассказ написан в 1971 году в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9),

затем включался во все прижизненные сборники В. М. Шукшина; впоследствии издан пять раз.

Ораторский прием. Первоначально: «Старший». Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), а затем в сборнике «Беседы при ясной луне» (1974). Переиздан семь раз.

Мой зять украл машину дров! Первоначально: «Жить бы да жить-радоваться», «Скандал». Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (1971, № 12). Включен в книги «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Семь переизданий. В авторской рукописи — первоначальный вариант финала:

«— Знаю адрес. Знаю.

Туристы, которые разбили палатки на берегу Уши, видели, как грузовой ГАЗ чего-то вдруг резко дал вправо, с треском проломил заградительные перила и полетел в реку.

Потом, когда достали машину и попытались установить причину аварии, механики не могли установить причину, написали в акте: «Заело рулевое управление».

Оба — водитель и пассажир — были мертвы. Причем у водителя смерть наступила еще до того, как машина ушла в воду: разрыв сердца. Пассажир пытался открыть дверцу, но ее заклинило, очевидно, при ударе о перила. Он хотел выбить стекло (обе руки его были изрезаны в кровь), выбил, но только часть, не все — не успел. Захлебнулся». (Архив В. М. Шукшина.)

Забуксовал. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в книге «Характеры» (1973), затем в книге «Брат мой» (1975). Переиздан трижды. Мотивы рассказа использованы в фильме «Позови меня в даль светлую». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Русь-тройка. Человек (отец) обнаружил, что тройка-то (гоголевская) везет... Чичикова. Разговор с учителем. Учитель говорит, что это — неважно, что Чичикова, важно, что — очень быстро».

Рассказы 1972—1974 годов публикуются в 3-м томе.

Л. АННИНСКИЙ,
Л. ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1960—1971 ГОДОВ

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 2. Рассказы 1960—1971 годов / Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Коммент. Л. Аннинского, Л. Федосеевой-Шукшиной. — М. : Мол. гвардия, 1985. — 591 с., ил.

В пер.: 2 р. 50 к. 150 000 экз.

Во второй том собрания сочинений известного советского писателя, лауреата Ленинской премии Василия Шукшина вошли рассказы, написанные им в 1960—1971 годах.

Ш $\frac{4702010200—122}{078(02)—85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985 — ББК 84Р7 Р2

ИБ № 4246

Василий Макарович Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 2.

Редактор
Г. Кострова
Художники
А. Яковлев, А. Озеровская
Художественный редактор
Л. Романова
Технический редактор
Г. Прохорова
Корректоры
И. Тарасова, И. Ларина,
В. Авдеева

Сдано в набор 18.07.84. Подписано в печать 18.03.85. А00695. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,5. Учетно-изд. л. 34,0. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 2 р. 50 к. Заказ 1038.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.